— Да-с… У нас, знаете ли, рессора лопнула, — начал Чубиков, войдя в гостиную и усаживаясь в кресло.

— Вы сразу… ошеломите! — шепнул ему Дюковский. — Ошеломите!

— Рессора… Мм… да… Взяли и заехали.

— Ошеломите, вам говорят! Догадается, коли канителить будете!

— Ну, так делай, как сам знаешь, а меня избавь! — пробормотал Чубиков, вставая и отходя к окну. — Не могу! Ты заварил кашу, ты и расхлебывай!

— Да, рессора… — начал Дюковский, подходя к становихе и морща свой длинный нос. — Мы заехали не для того, чтобы… эээ… ужинать и не к Евграфу Кузьмичу. Мы приехали затем, чтобы спросить вас, милостивая государыня: где находится Марк Иванович, которого вы убили?

— Что? Какой Марк Иваныч? — залепетала становиха, и ее большое лицо вдруг, в один миг, залилось алой краской. — Я… не понимаю.

— Спрашиваю вас именем закона! Где Кляузов? Нам всё известно!

— Через кого? — спросила тихо становиха, не вынося взгляда Дюковского.

— Извольте указать нам — где он!?

— Но откуда вы узнали? Кто вам рассказал?

— Нам всё известно-с! Я требую именем закона!

Следователь, ободренный замешательством становихи, подошел к ней и сказал:

— Укажите нам, и мы уйдем. Иначе же мы…

— На что он вам?

— К чему эти вопросы, сударыня? Мы вас просим указать! Вы дрожите, смущены… Да, он убит и, если хотите, убит вами! Сообщники выдали вас!

Становиха побледнела.

— Пойдемте, — сказала она тихо, ломая руки. — Он у меня в бане спрятан. Только, ради бога, не говорите мужу! Умоляю вас! Он не вынесет.

Становиха сняла со стены большой ключ и повела своих гостей через кухню и сени во двор. На дворе было темно. Накрапывал мелкий дождь. Становиха пошла вперед. Чубиков и Дюковский зашагали за ней по высокой траве, вдыхая в себя запахи дикой конопли и помоев, всхлипывавших под ногами. Двор был большой. Скоро кончились помои, и ноги почувствовали вспаханную землю. В темноте показались силуэты деревьев, а между деревьями — маленький домик с покривившеюся трубой.

— Это баня, — сказала становиха. — Но умоляю вас, не говорите никому!

Подойдя к бане, Чубиков и Дюковский увидели на дверях огромнейший висячий замок.

— Приготовьте огарок и спички! — шепнул следователь своему помощнику.

Становиха отперла замок и впустила гостей в баню. Дюковский чиркнул спичкой и осветил предбанник. Среди предбанника стоял стол. На столе рядом с маленьким толстеньким самоваром стоял супник с остывшими щами и блюдо с остатками какого-то соуса.

— Дальше!

Вошли в следующую комнату, в баню. Там тоже стоял стол. На столе большое блюдо с окороком, бутыль с водкой, тарелки, ножи, вилки.

— Но где же… этот? Где убитый? — спросил следователь.

— Он на верхней полочке! — прошептала становиха, всё еще бледная и дрожащая.

Дюковский взял в руки огарок и полез на верхнюю полку. Там он увидел длинное человеческое тело, лежавшее неподвижно на большой пуховой перине. Тело издавало легкий храп…

— Нас морочат, чёрт возьми! — закричал Дюковский. — Это не он! Здесь лежит какой-то живой болван. Эй, кто вы, чёрт вас возьми?

Тело потянуло в себя со свистом воздух и задвигалось. Дюковский толкнул его локтем. Оно подняло вверх руки, потянулось и приподняло голову.

— Кто это лезет? — спросил охрипший, тяжелый бас. — Тебе что нужно?

Дюковский поднес к лицу неизвестного огарок и вскрикнул. В багровом носе, взъерошенных, нечесаных волосах, в черных, как смоль, усах, из которых один был ухарски закручен и с нахальством глядел вверх на потолок, он узнал корнета Кляузова.

— Вы… Марк… Иваныч?! Не может быть! Следователь взглянул наверх и замер…

— Это я, да… А это вы, Дюковский! Какого дьявола вам здесь нужно? А там, внизу, что еще за рожа? Батюшки, следователь! Какими судьбами?

Кляузов сбежал вниз и обнял Чубикова. Ольга Петровна шмыгнула в дверь.

— Какими путями? Выпьем, чёрт возьми! Тра-та-ти-то-том… Выпьем! Кто вас привел сюда, однако? Откуда вы узнали, что я здесь? Впрочем, всё равно! Выпьем!

Кляузов зажег лампу и налил три рюмки водки.

— То есть, я тебя не понимаю, — сказал следователь, разводя руками. — Ты это или не ты?

— Будет тебе… Мораль читать хочешь? Не трудись! Юноша Дюковский, выпивай свою рюмку! Проведемте ж, друзья-я, эту… Чего смотрите? Пейте!

— Все-таки я не могу понять, — сказал следователь, машинально выпивая водку. — Зачем ты здесь?

— Почему же мне не быть здесь, ежели мне здесь хорошо?

Кляузов выпил и закусил ветчиной.

— Живу у становихи, как видишь. В глуши, в дебрях, как домовой какой-нибудь. Пей! Жалко, брат, мне ее стало! Сжалился, ну, и живу здесь, в заброшенной бане, отшельником… Питаюсь. На будущей неделе думаю убраться отсюда… Уж надоело…

— Непостижимо! — сказал Дюковский.

— Что же тут непостижимого?

— Непостижимо! Ради бога, как попал ваш сапог в сад?

— Какой сапог?

— Мы нашли один сапог в спальне, а другой в саду.

— А вам для чего это знать? Не ваше дело… Да пейте же, чёрт вас возьми. Разбудили, так пейте! Интересная история, братец, с этим сапогом. Я не хотел идти к Оле. Не в духе, знаешь, был, подшофе… Она приходит под окно и начинает ругаться… Знаешь, как бабы… вообще… Я, спьяна, возьми да и пусти в нее сапогом… Ха-ха… Не ругайся, мол. Она влезла в окно, зажгла лампу, да и давай меня мутузить пьяного. Вздула, приволокла сюда и заперла. Питаюсь теперь… Любовь, водка и закуска! Но куда вы? Чубиков, куда ты?

Следователь плюнул и вышел из бани. За ним, повесив голову, вышел Дюковский. Оба молча сели в шарабан и поехали. Никогда в другое время дорога не казалась им такою скучной и длинной, как в этот раз. Оба молчали. Чубиков всю дорогу дрожал от злости, Дюковский прятал свое лицо в воротник, точно боялся, чтобы темнота и моросивший дождь не прочли стыда на его лице.

Приехав домой, следователь застал у себя доктора Тютюева. Доктор сидел за столом и, глубоко вздыхая, перелистывал «Ниву».

— Дела-то какие на белом свете! — сказал он, встречая следователя, с грустной улыбкой. — Опять Австрия того!.. И Гладстон тоже некоторым образом…

Чубиков бросил под стол шляпу и затрясся.

— Скелет чёртов! Не лезь ко мне! Тысячу раз говорил я тебе, чтобы ты не лез ко мне со своею политикой! Не до политики тут! А тебе, — обратился Чубиков к Дюковскому, потрясая кулаком, — а тебе… во веки веков не забуду!

— Но… шведская спичка ведь! Мог ли я знать!

— Подавись своей спичкой! Уйди и не раздражай, а то я из тебя чёрт знает что сделаю! Чтобы и ноги твоей не было!

Дюковский вздохнул, взял шляпу и вышел.

— Пойду запью! — решил он, выйдя за ворота, и побрел печально в трактир.

Становиха, придя из бани домой, нашла мужа в гостиной.

— Зачем следователь приезжал? — спросил муж.

— Приезжал сказать, что Кляузова нашли. Вообрази, нашли его у чужой жены!

— Эх, Марк Иваныч, Марк Иваныч! — вздохнул становой, поднимая вверх глаза. — Говорил я тебе, что распутство не доводит до добра! Говорил я тебе, — не слушался!

Протекция

По Невскому шел маленький, сморщенный старичок с орденом на шее. За ним вприпрыжку следовал маленький молодой человек с кокардой и лиловым носиком. Старичок был нахмурен и сосредоточен, молодой человек озабоченно мигал глазками и, казалось, собирался плакать. Оба шли к Евлампию Степановичу.

— Я не виноват, дяденька! — говорил молодой человек, едва поспевая за старичком. — Меня понапрасну уволили. Дряньковский больше меня пьет, однако же его не уволили! Он каждый день являлся в присутствие пьяным, а я не каждый день. Это такая несправедливость от его превосходительства, дяденька, что и выразить вам не могу!

— Молчи… Свинья!

— Гм… Ну, пущай я буду свинья, хоть у меня и самолюбие есть. Меня не за пьянство уволили, а за портрет. Подносили ему наши альбом с карточками. Все снимались, и я снимался, но моя карточка не сгодилась, дяденька. Глаза выпученные вышли и руки растопырены. Носа у меня никогда такого длинного не было, как на карточке вышло. Я и постыдился свою карточку в альбом вставлять. Ведь у его превосходительства дамы бывают, портреты рассматривают, а я не желаю себя перед дамами компрометировать. Моя наружность не красивая, но привлекательная, а на карточке какой-то шут вышел. Евлампий Степаныч и обиделись, что моей карточки нет. Подумали, что я из гордости или вольномыслия… А какое у меня вольномыслие? Я и в церковь хожу, и постное ем, и носа не задираю, как Дряньковский. Заступитесь, дяденька! Век буду бога молить! Лучше в гробу лежать, чем без места шляться.

Старичок и его спутник повернули за угол, прошли еще три переулка и наконец дернули за звонок у двери Евлампия Степановича.

— Ты здесь посиди, — сказал старичок, войдя с молодым человеком в приемную, — а я к нему пойду. Из-за тебя беспокойства одни только. Болван… Стань и стой тут… Дрянь…

Старичок высморкался, поправил на шее орден и пошел в кабинет. Молодой человек остался в приемной. Сердце его застучало.

«О чем они там говорят? — подумал он, холодея и переминаясь от тоски с ноги на ногу, когда из кабинета донеслось к нему бормотанье двух старческих голосов. — Слушает ли он дяденьку?»

Не вынося неизвестности, он подошел к двери и приложил к ней свое большое ухо.

— Не могу-с! — услышал он голос Евлампия Степановича. — Верьте богу, не могу-с! Я вас уважаю, друг я вам, Прохор Михайлыч, на всё для вас готов, но… не могу-с! И не просите!

— Я согласен с вами, ваше превосходительство, это испорченный мальчишка. Не стану этого отрицать и скажу даже вам как другу и благодетелю, что мало того, что он пьяница. Это бы еще ничего-с. Он негодяй! И уворует, ежели что плохо лежит, и подчистить мастер, и наябедничать готов… Такой паршивец, что и выразить вам не могу! Вы ему сегодня одолжение делаете, а завтра он донос на вас пишет. Сволочь человек… Мне его нисколько не жалко. Коли бы моя воля, я бы его давно к чертям на кулички… Но мне, ваше — ство, мать его жалко! Для матери только и прошу. Обокрал, подлец, мать, пропил всё…

Молодой человек отошел от двери и прошелся по приемной. Через пять минут он опять подошел к двери и приложил ухо.

— Для старушечки сделайте, ваше — ство, — говорил дядя. — Она с тоски умирает, что ее подлец без дела ходит.

— Ну, ладно, так и быть. Только с условием: чуть что малейшее, сейчас же вон!

— Сейчас и выгоняйте, ежели что, подлеца этакого.

Молодой человек отошел от двери и зашагал по приемной.

— Молодец дядька! — прошептал он, в восторге потирая руки. — Трогательно расписывает! Необразованный человек, а как всё это умно у него выходит…

Из кабинета показался дядя.

— Тебя приняли, — сказал он угрюмо. — Дрянь… Пойдем.

— Благодарю вас, дяденька! — вздохнул молодой человек, мигая глазами, полными благодарности, и целуя руку. — Без вашей протекции я давно бы пропал…

Оба вышли на улицу и зашагали к себе домой. Старичок был нахмурен и сосредоточен, молодой человек сиял и был весел.

Справка

Был полдень. Помещик Волдырев, высокий плотный мужчина с стриженой головой и с глазами навыкате, снял пальто, вытер шёлковым платком лоб и несмело вошел в присутствие. Там скрипели…

— Где здесь я могу навести справку? — обратился он к швейцару, который нес из глубины присутствия поднос со стаканами. — Мне нужно тут справиться и взять копию с журнального постановления.

— Пожалуйте туда-с! Вот к энтому, что около окна сидит! — сказал швейцар, указав подносом на крайнее окно.

Волдырев кашлянул и направился к окну. Там за зеленым, пятнистым, как тиф, столом сидел молодой человек с четырьмя хохлами на голове, длинным угреватым носом и в полинялом мундире. Уткнув свой большой нос в бумаги, он писал. Около правой ноздри его гуляла муха, и он то и дело вытягивал нижнюю губу и дул себе под нос, что придавало его лицу крайне озабоченное выражение.

— Могу ли я здесь… у вас, — обратился к нему Волдырев, — навести справку о моем деле? Я Волдырев… И кстати же мне нужно взять копию с журнального постановления от второго марта.

Чиновник умокнул перо в чернильницу и поглядел: не много ли он набрал? Убедившись, что перо не капнет, он заскрипел. Губа его вытянулась, но дуть уже не нужно было: муха села на ухо.

— Могу ли я навести здесь справку? — повторил через минуту Волдырев. — Я Волдырев, землевладелец…

— Иван Алексеич! — крикнул чиновник в воздух, как бы не замечая Волдырева. — Скажешь купцу Яликову, когда придет, чтобы копию с заявления в полиции засвидетельствовал! Тысячу раз говорил ему!

— Я относительно тяжбы моей с наследниками княгини Гугулиной, — пробормотал Волдырев. — Дело известное. Убедительно вас прошу заняться мною.

Всё не замечая Волдырева, чиновник поймал на губе муху, посмотрел на нее со вниманием и бросил. Помещик кашлянул и громко высморкался в свой клетчатый платок. Но и это не помогло. Его продолжали не слышать. Минуты две длилось молчание. Волдырев вынул из кармана рублевую бумажку и положил ее перед чиновником на раскрытую книгу. Чиновник сморщил лоб, потянул к себе книгу с озабоченным лицом и закрыл ее.

— Маленькую справочку… Мне хотелось бы только узнать, на каком таком основании наследники княгини Гугулиной… Могу ли я вас побеспокоить?

А чиновник, занятый своими мыслями, встал и, почесывая локоть, пошел зачем-то к шкапу. Возвратившись через минуту к своему столу, он опять занялся книгой: на ней лежала рублевка.

— Я побеспокою вас на одну только минуту… Мне справочку сделать, только…

Чиновник не слышал; он стал что-то переписывать.

Волдырев поморщился и безнадежно поглядел на всю скрипевшую братию.

«Пишут! — подумал он, вздыхая. — Пишут, чтобы чёрт их взял совсем!»

Он отошел от стола и остановился среди комнаты, безнадежно опустив руки. Швейцар, опять проходивший со стаканами, заметил, вероятно, беспомощное выражение на его лице, потому что подошел к нему совсем близко и спросил тихо:

— Ну, что? Справлялись?

— Справлялся, но со мной говорить не хотят.

— А вы дайте ему три рубля… — шепнул швейцар.

— Я уже дал два.

— А вы еще дайте.

Волдырев вернулся к столу и положил на раскрытую книгу зеленую бумажку.

Чиновник снова потянул к себе книгу и занялся перелистыванием, и вдруг, как бы нечаянно, поднял глаза на Волдырева. Нос его залоснился, покраснел и поморщился улыбкой.

— Ах… что вам угодно? — спросил он.

— Я хотел бы навести справку относительно моего дела… Я Волдырев.

— Очень приятно-с! По Гугулинскому делу-с? Очень хорошо-с! Так вам что же, собственно говоря?

Волдырев изложил ему свою просьбу.

Чиновник ожил, точно его подхватил вихрь. Он дал справку, распорядился, чтобы написали копию, подал просящему стул — и всё это в одно мгновение. Он даже поговорил о погоде и спросил насчет урожая. И когда Волдырев уходил, он провожал его вниз по лестнице, приветливо и почтительно улыбаясь и делая вид, что он каждую минуту готов перед просителем пасть ниц. Волдыреву почему-то стало неловко и, повинуясь какому-то внутреннему влечению, он достал из кармана рублевку и подал ее чиновнику. А тот всё кланялся и улыбался и принял рублевку, как фокусник, так что она только промелькнула в воздухе…

«Ну, люди…» — подумал помещик, выйдя на улицу, остановился и вытер лоб платком.

Отставной раб

— Наша речка извивалась змейкой, словно зигзага… Бежала она по полю изгибами, вертикулясами этакими, как поломанная… Когда, бывало, на гору взлезешь и вниз посмотришь, то всю ее, как на ладонке, видать. Днем она как зеркало, а ночью ртутью отливает. По бережку камыш стоит и в воду поглядывает… Красота! Тут камыш, там ивнячок, а там вербы…

Так расписывал Никифор Филимоныч, сидя в портерной за столиком и глотая пиво. Говорил он с увлечением, с жаром… Его морщинистое бритое лицо и коричневая шея вздрагивали и подергивались судорогой всякий раз, когда он подчеркивал в своем рассказе какое-либо особенно поэтическое место. Слушала его хорошенькая шестнадцатилетняя сиделица, Таня. Лежа грудью на прилавке и подперев голову кулаками, она, изумляясь, бледнея и не мигая глазами, восторженно ловила каждое слово.

Никифор Филимоныч каждый вечер бывал в портерной и беседовал с Таней. Любил он ее за сиротство и тихую ласковость, которою залито было всё ее бледное востроглазое лицо. А кого он любил, тому отдавал все тайны своего прошлого. Начинал он беседы обыкновенно с самого начала — с описания природы. С природы переходил он на охоту, с охоты — на личность покойного барина, князя Свинцова.

— Знаменитый был человек! — рассказывал он про князя. — Славен он был не столько богатством и широтою земель, сколько характером. Он был Дон-Жуан-с.

— А что значит Дон-Жуан?

— Это обозначает, что он до женского пола большой Дон-Жуан был. Любил вашего брата. Всё свое состояние на женский пол провалил. Да-с… А когда мы в Москве жили, у нас в грандателе почти весь верхний этаж на наши средства существовал. В Петербурге мы с баронессой фон Туссих большие связи имели и дитятю прижили. Баронесса эта самая в одну ночь всё свое состояние в штосс проиграла и руки на себя наложить хотела, а князь не дал ей жизнь прикончить. Красивая была, молодая такая… Год с ним попуталась и померла… А как женщины любили его, Танечка! Как любили! Жить без него не могли!

— Он был красив?

— Какой… Старый был, некрасивый… Вот и вы бы, Танечка, ему понравились… Он любил таких худеньких, бледненьких… Вы не конфузьтесь. Чего конфузиться? Не врал я во веки веков и теперь не вру-с…

Потом Никифор Филимоныч принимался за описание экипажей, лошадей, нарядов… Во всем этом он знал толк. Потом начинал перечислять вина.

— А есть такие вина, что четвертную за бутылку стоит. Выпьешь ты рюмку, а у тебя в животе делается, словно ты от радости помер.

Тане более всего нравилось описание тихих лунных ночей.. Летом шумная оргия в зелени, среди цветов, а зимой — в санях с теплой полостью, в санях, которые летят как молния.

— Летят санки-с, а вам кажется, что луна бежит… Чудно-с!

Долго рассказывал таким образом Никифор Филимоныч. Оканчивал он, когда мальчишка тушил над дверью фонарь и вносил в портерную дверную вывеску.

В один зимний вечер Никифор Филимоныч лежал пьяный под забором и простудился. Его свезли в больницу. Выписавшись через месяц из больницы, он уже не нашел в портерной своей слушательницы. Она исчезла.

Через полтора года шел Никифор Филимоныч в Москве по Тверской и продавал поношенное летнее пальто. Ему встретилась его любимица, Таня. Она, набеленная, расфранченная, в шляпе с отчаянно загнутыми полями, шла под руку с каким-то господином в цилиндре и чему-то громко хохотала… Старик поглядел на нее, узнал, проводил глазами и медленно снял шапку. По его лицу пробежало умиление, на глазах сверкнула слезинка.

— Ну, дай бог ей… — прошептал он. — Она хорошая.

И, надевши шапку, он тихо засмеялся.

Мои чины и титулы

Я посланник. Каждое утро жена посылает меня на рынок за провизией.

Я надворный советник. Каждое утро перед уходом на рынок я советуюсь на дворе с дворником по поводу текущих вопросов.

Я городовой, потому что я живу в городе, а не в деревне.

Я дворянин — это несомненно. По вечерам я прогуливаюсь по двору, летом люблю спать на дворе, часто беседую с дворником и собаки мои называются дворняжками.

Я товарищ прокурора Ивана Иваныча, который иногда заходит ко мне и на основании всех статей X тома Свода законов пьет у меня пиво. Отношения наши самые товарищеские.

Я был особой IV, III, II и даже I классов, когда учился в гимназии.

Я следователь по особо важным делам. Не вынося посредственности, я обыкновенно следую примеру только того, кто совершает особенно важные дела…

Я кавалер, потому что имею Анну на шее… и какую Анну! Толстую, краснощекую, строптивую…

Я благочинный. Никто не ведет себя так благочинно, как я. Засвидетельствовать это могут наши дворники.

Я кассир, потому что имею кассу; бухгалтер, потому что веду лавочную, прачечную и записную книжки; письмоводитель, потому что веду переписку; сторож, потому что всегда сторожу свое добро, и звонарь, потому что часто звоню в мой колокольчик.

Я целовальник, потому что люблю целоваться.

Я тайный советник, потому что советуюсь с женой тайно от тещи.

Я сведущий человек по части выпивки и закуски.

Я батарейный командир, когда в моем распоряжении батарея бутылок.

Я человек без селезенки, когда ставлю точку.

Дура, или Капитан в отставке

(Сценка из несуществующего водевиля)

Свадебный сезон. Отставной капитан Соусов (сидит на клеенчатом диване, поджав под себя одну ногу и держась обеими руками за другую. Говорит и покачивается). Сваха Лукинишна (расплывшаяся старуха с глупым, но добродушным лицом, помещается в стороне на табурете. На лице выражение ужаса, смешанного с удивлением. В профиль похожа на улитку, en face — на черного таракана. Говорит с подобострастием и после каждого слова икает).

Капитан. Впрочем, ежели взглянуть на это с точки зрения, то Иван Николаич поступил весьма существенно. Он хорошо сделал, что женился. Будь ты хоть профессор, хоть гений, а ежели ты не женат, то ты и гроша медного не стоишь. Ни ценза в тебе, ни общественного мнения… Кто не женат, тот не может иметь в обществе настоящий вес. Возьмем хоть меня для примера… Я человек образованного класса, домовладелец, при деньгах… Чин тоже вот… и орден, а что с меня толку? Кто я, ежели взглянуть на меня с точки зрения? Бобыль… Синоним какой-то, и больше ничего (задумывается). Все женаты, у всех есть деточки, один только я… как в романсе этом… (поет тенором печальный романс). Так вот и в моей жизни… Хоть бы какую завалящую невесту!

Лукинишна. Зачем завалящую? За тебя, батюшка, и не завалящая пойдет. При твоем благородстве и, можно сказать, при твоих таких качествах за тебя любая пойдет, и с деньгами…

Капитан. С деньгами мне не нужно. Я не позволю себе сделать такой подлости, чтоб на деньгах жениться. Я сам имею деньги и желаю, чтоб не я женин хлеб ел, а чтоб она мой. Ежели бедную возьмешь, то она будет чувствовать, понимать… Во мне нет настолько эгоизма, чтоб я из-за интереса…

Лукинишна. Оно действительно, батюшка… Иная бедная покрасивей богачки будет…

Капитан. И красоты мне тоже не надо. К чему она? С лица воды не пить. Красота должна быть не в естестве, а в душе… Мне нужны доброта, кротость, невинность этакая… Я желаю, чтоб жена меня уважала, почитала…

Лукинишна. Гм… Как же ей тебя не почитать, ежели ты для нее законный супруг есть? Образования в ней нет, что ли?

Капитан. Постой, не перебивай. И образованной мне тоже не нужно. Без образования нынче нельзя, это конечно, но образование разное бывает. Приятно, ежели жена по-французски и по-немецки, на разные голоса там, очень приятно; но что из этого толку, ежели она не умеет тебе пуговки, положим, пришить? Я образованного класса, принят везде, с князем Канителиным, могу сказать, всё одно, как вот с тобой теперь, но я имею простой характер. Мне нужна простая девушка. Ума мне не нужно. Ум в мужчине имеет вес, а женское существо может и без ума обойтись.

Лукинишна. Это верно, батюшка. Про умных нынче и в газетах писано, что они не годятся.

Капитан. Дура и любить тебя будет, и почитать, и чувствовать, какого я звания человек. Страх в ней будет. А умная будет хлеб твой кушать, но чувствовать она не будет, чей это хлеб. Дуру мне и ищи… Так и знай: дуру. Есть у тебя такая на примете?

Лукинишна. Разные есть на примете (задумывается). Какую же тебе? Дур-то много, да всё умные дуры… У кажинной дуры свой ум… Тебе совсем дуру? (Думает.) Есть у меня одна дурочка, да не знаю, пондравится ли… Купеческого она звания и тысяч пять приданого… Собой не то, чтобы не красива, а так — ни то, ни се… худенькая, тонюсенькая… Ласковая, деликатная… Доброты страсть сколько! Последнее отдаст, ежели кто попросит… Ну, и кроткая… Мать ее за волосья, а она хоть бы тебе пискнула — ни словечка! И страх в ней от родителев вложен, и в церковь ее водят, и в хозяйстве, ежели что… Но это самое (водит пальцем около лба)… Не осуди ты меня, грешницу, за мои осуждения, а истинное мое тебе слово, как перед богом: не в себе она! Дура… Молчит, молчит, как убитая молчит… Сидит, молчит, да вдруг ни с того, ни с сего — прыг! Словно ты ее кипятком ошпарил. Вскочит со стула, как угорелая, и давай молоть… Мелет, мелет… Без конца-краю мелет… И родители у нее дураки тогда выходят, и пища не такая, и слова не такие ей говорят. И жить будто ей не с кем, и жизнь-то ее будто заели… «Понять, говорит, вы меня не можете…» Дура девка! Сватался за нее купец Кашалотов — отказала ведь! Засмеялась ему в лицо, и только… Богатый купец, красивый, алигантный, словно молоденький офицерик. А то, бывает, возьмет какую ни на есть дурацкую книжку, пойдет в чулан и давай читать…

Капитан. Ну, эта дура не подходит мне под категорию… Другую поищи (встает и глядит на часы)… А пока бонжур! Мне идти пора… Пойду по своей холостой части…

Лукинишна. Иди, батюшка! Скатертью дорожка! (Встает.) В субботу ввечеру зайду касательно невесты (идет к двери)… Ну, а тово… по холостой части тебе не требуется?

Майонез

Астрономы сильно обрадовались, когда открыли на солнце пятна. Случай беспримерного злорадства!

Чиновник брал взятку. В самый момент грехопадения вошел его начальник и подозрительно впился глазами в его кулак, в котором лежала благодарственная кредитка. Чиновник ужасно смутился.

— Послушайте! — обратился он к просителю, разжимая кулак. — Вы позабыли что-то у меня в кулаке!

Когда козел бывает свиньей?

— Повадился к нашим козам чей-то козел ходить, — рассказывал один помещик. — Мы взяли и побили его. Он продолжал все-таки ходить. Мы его выпороли и к хвосту его палку привязали. Но и это не помогло. Подлец всё еще продолжал лазить к нашим козам. Хорошо же! Мы его поймали, насыпали ему в нос табаку и вымазали скипидаром. После этой экзекуции он не ходил три дня, а потом опять начал ходить. Ну, не свинья ли он после этого?

Примерная находчивость.

Петербургский репортер N. Z., обозревая прошлогоднюю мануфактурную выставку, остановил между прочим свое внимание на одном павильоне и начал что-то записывать.

— Это не вы обронили четвертную? — обратился к нему хозяин павильона, подавая ему бумажку.

— Я уронил две четвертные! — нашелся репортер.

Экспонент изумился такой находчивости и подал ему другую четвертную.

Это не анекдот, а быль.

Осенью

Время было близко к ночи.

В кабаке дяди Тихона сидела компания извозчиков и богомольцев. Их загнал в кабак осенний ливень и неистовый мокрый ветер, хлеставший по лицам, как плетью. Промокшие и уставшие путники сидели у стен на скамьях и, прислушиваясь к ветру, дремали. На лицах была написана скука. У одного извозчика, малого с рябым, исцарапанным лицом, лежала на коленях мокрая гармонийка: играл и машинально перестал.

Над дверью, вокруг тусклого, засаленного фонарика, летали дождевые брызги. Ветер выл волком, визжал и, видимо, старался сорвать с петель кабацкую дверь. Со двора слышалось фырканье лошадей и шлепанье по грязи. Было сыро и холодно.

За прилавком сидел сам дядя Тихон, высокий мордастый мужик с сонными, заплывшими глазками. Перед ним по сю сторону прилавка стоял человек лет сорока, одетый грязно, больше чем дешево, но интеллигентно. На нем было помятое, вымоченное в грязи летнее пальто, сарпинковые брюки и резиновые калоши на босую ногу. Голова, руки, заложенные, в карманы, и худые, колючие локти его тряслись, как в лихорадке. Изредка по всему исхудалому телу, начиная с страшно испитого лица и кончая резиновыми калошами, пробегала легкая судорога.

— Дай Христа ради! — просил он Тихона разбитым, дребезжащим тенором. — Рюмочку… вот эту, маленькую. В долг ведь!

— Ладно… Много вас шляется тут, прохвостов!

Прохвост поглядел на Тихона с презрением, с ненавистью. Он убил бы его, если б можно было!

— Пойми ты, дура ты этакая, невежа! Не я прошу, нутро, выражаясь по-твоему, по-мужицкому, просит! Болезнь моя просит! Пойми!

— Нечего нам понимать. Отходи…

— Ведь если я не выпью сейчас, пойми ты это, если я не удовлетворю своей страсти, то я могу преступление совершить! Я бог знает что могу сделать! Видал ты, хам, на своем кабацком веку много пьяного люда; неужели же до сих пор ты не сумел уяснить себе, что это за люди? Это больные! На цепь их посади, бей, режь, а водки дай! Ну, покорнейше прошу! Сделай милость! Унижаюсь… Боже мой, как я унижаюсь!

Прохвост покачал головой и медленно сплюнул.

— Деньги давай, тогда и водка будет! — сказал Тихон.

— Где же мне взять денег? Всё пропито! Всё дотла!

Пальто вот одно только осталось. Его дать тебе не могу, потому что оно на голом теле… Хочешь шапку?

Прохвост подал Тихону свою драповую шапочку, из которой кое-где выглядывала вата. Тихон взял шапку, оглядел ее и отрицательно покачал головой.

— И даром не надо… — сказал он. — Навоз…

— Не нравится? Ну, так в долг дай, ежели не нравится. Буду идти из города обратно, занесу тебе твой пятак. Подавись ты тогда этим пятаком! Подавись!

— Какой такой ты жулик? Что за человек? Зачем пришел?

— Выпить хочу. Не я хочу, болезнь моя хочет! Пойми!

— Чего беспокоишь? Много вас. шельмованных, по большой дороге шатается! Ступай вон проси православных, пущай угощают тебя Христа ради, коли желают, а я Христа ради только хлеб подаю. Сволочь!

— Дери ты с них, бедняков, а я уж… извини! Не мне их обирать! Не мне!

Прохвост вдруг оборвал свою речь, покраснел и обратился к богомольцам:

— А ведь это идея, православные! Пожертвуйте пятачишку! Нутро просит! Болен!

— Водицы выпей, — усмехнулся малый с рябым лицом.

Прохвосту стало совестно. Он закашлялся и умолк. Через минуту он опять умолял Тихона. В конце концов он заплакал и стал предлагать за рюмку водки свое мокрое пальто. В темноте не увидели его слез, а пальто не приняли, потому что в кабаке были богомолки, которые не пожелали видеть мужскую наготу.

— Что же мне теперь делать? — спросил тихо прохвост голосом, полным отчаяния. — Что же делать? Не выпить мне нельзя. Иначе я преступление совершу или на самоубийство решусь… Что же делать?

Он прошелся по кабаку.

Подъехал со звонками почтовый тарантас. Мокрый почтальон вошел в кабак, выпил стакан водки и вышел. Почта поехала дальше.

— Я тебе дам одну золотую вещь, — обратился прохвост к Тихону, ставши вдруг бледным, как полотно. — Изволь, я тебе дам. Так и быть… Хоть это подло, мерзко с моей стороны, но возьми… Я сделаю эту гадость, будучи невменяем… И на суде бы меня оправдали… Возьми, но только с условием: возвратить мне потом, когда обратно пойду. Даю тебе при свидетелях…

Прохвост полез мокрой рукой себе за пазуху и достал оттуда маленький золотой медальон. Он раскрыл его и мельком взглянул на портрет.

— Надо бы портрет вынуть, да некуда мне его положить: я весь мокрый. Чёрт с тобой, грабь с портретом. Только с условием… Голубчик мой, дорогой… я прошу… Ты пальцами не трогай за это лицо… Умоляю, голубчик! Ты извини меня за грубости, за то, что я с тобой грубо говорил… Я глуп… Не трогай пальцами и не гляди своими глазами на это лицо…

Тихон взял медальон, поглядел на пробу и положил его к себе в карман.

— Краденые часики, — сказал он, наливая стакан. — Ну ладно… пей…

Пьяница взял в руки стакан, сверкнул на него глазами, насколько хватило силы сверкнуть у его пьяных, мутных глаз, и выпил… выпил с чувством, с судорожной расстановкой. Пропив медальон с портретом, он стыдливо опустил глаза и пошел в угол. Там он примостился на скамье возле богомолки, съежился и закрыл глаза.

Прошло полчаса в тишине и безмолвии. Шумел только ветер, напевая в трубе свою осеннюю рапсодию. Богомолки стали молиться богу и бесшумно располагаться под скамьями на ночлег. Тихон раскрыл медальон и загляделся на женскую головку, улыбавшуюся из золотой рамочки кабаку, Тихону, бутылкам.

На дворе скрипнула телега. Послышалось «тпррр» и шлепанье по грязи… В кабак вбежал маленький мужичок в длинном тулупе и с острой бородой. Он был мокр и грязен.

— Ну-кася! — крикнул он, стуча пятаком о прилавок. — Стакан мадеры настоящей! Наливай!

И, ухарски повернувшись на одной ноге, он окинул взглядом всю компанию.

— Растаяли сахарные, тетка ваша подкурятина! Дождя испугались, ахиды! Нежные! А это что за изюмина?

Мужичонок прыгнул к прохвосту и поглядел ему в лицо.

— Вот туды! Барин! — сказал он. — Семен Сергеич! Господа наши! А? С какой такой стати вы в этом кабаке прохлаждаетесь? Нешто вам здесь место? Эх… мученик несчастный!

Барин взглянул на мужичонка и закрылся рукавом. Мужичонок вздохнул, покачал головой, отчаянно махнул обеими руками и пошел к прилавку пить водку.

— Это наш барин, — шепнул он Тихону, кивнув на прохвоста. — Наш помещик, Семен Сергеич. Видал, каков? На какого человека похож теперь? А? То-то вот… пьянство до какой степени…

Выпив водку, мужичонок вытер рукавом губы и продолжал:

— Я из его деревни. За четыреста верст отседа, из Ахтиловки… Крепостными у его отца были… Этакая жалость, брат! Этакая жалость! Славный такой господин был… Вон она, лошадка-то на дворе! Видишь? Это он мне на лошадку дал! Ха-ха! Судьба!

Через десять минут вокруг мужичонка сидели извозчики и богомольцы. Тихим, нервным тенорком, под шумок осени, рассказывал он им повесть. Семен Сергеич сидел в том же углу, закрыв глаза и бормоча. Он тоже слушал.

— Всё это из одного малодушества вышло, — рассказывал мужичонок, двигаясь и жестикулируя руками. — С жиру… Господин он был богатый, большой, на всю, значит, губернию… Ешь, пей — не хочу! Сами, небось, видали… Сколько разов тут в коляске мимо этого самого кабака проезжал. Богатый был… Помню, лет пять тому назад едет через Микишкинский паром и заместо пятака рупь выкидывает… Из-за пустяшного предмета разоренье его началось. Первое дело — из-за бабы. Полюбил он, сердешный, одну городскую… Пуще жизни. Полюбилась ворона пуще ясна сокола… Марьей Егоровной, подлая, прозывалась, а фамилия такая чудная, что и не выговоришь. Полюбил и посватался, стало быть, как это по-божецки требуется. А она, известно, согласие дала, потому — барин он не из пустяшных, тверезый и при деньгах… Прохожу я однажды вечерком, помню это, через ихний сад; смотрю, а они сидят на лавочке и друг дружку целуют. Он ее раз, она, змея, его — два. Он ее за белу ручку, а она — вспых! так и жмется к ему, чтоб ей шут!.. Люблю говорит тебя, Сеня… А Сеня, как окаянный человек, ходит везде и счастьем похваляется сдуру… Тому рупь, тому два… Мне вот на лошадь дал… Всем нам долги простил на радостях. Подошло дело к свадьбе… Повенчались, как следовает… В самый раз, когда господам за ужин садиться, она возьми да и убеги в карете… В город к аблакату бежала, к полюбовнику. После венца-то, шкура! А? В самый настоящий момент! А? Очумел с той поры, запил… Вот как, видишь… Ходит, как шальной, и об ней, шкуре, думает. Любит! Должно, идет теперь пешком в город на нее одним глазочком взглянуть… Второе дело, братцы, откуда разоренье пошло, — зять, сестрин муж… Вздумал он за зятя в банковом обчестве поручиться… тысяч на тридцать… Зять, известно, знает, шельма, свою пользу и ухом своим собачьим не ведет, а с нашего взяли все тридцать тысяч… Глупый человек за глупость и муки терпит… Жена со своим аблакатом детей прижила, зять около Полтавы именье купил, а наш ходит, как дурак, по кабакам да к нашему брату мужику с жалобой лезет: «Потерял я, братцы, веру! Не в кого мне теперь, это самое, верить!» Малодушество! У всякого человека свое горе бывает, так и пить, значит? Вот у нас, к примеру взять, старшина. Жена к себе учителя среди бела дня водит, мужнины деньги на хмель изводит, а старшина ходит себе да усмешки на лице делает… Поосунулся только малость…

— Кому какую бог силу дал… — вздохнул Тихон.

— Сила разная бывает — это правильно.

Долго мужичонок рассказывал. Когда он кончил, воцарилась в кабаке тишина.

— Эй, ты… как вас?.. несчастный человек! Иди, выпей! — сказал Тихон, обращаясь к барину.

Барин подошел к прилавку и с наслаждением выпил милостыню…

— Дай мне на минутку медальон! — шепнул он Тихону. — Посмотрю только и… отдам…

Тихон нахмурился и молча отдал ему медальон. Малый с рябым лицом вздохнул, покрутил головой и потребовал водки.

— Выпей, барин! Эх! Без водки хорошо, а с водкой еще лучше! При водке и горе не горе! Валяй!

Выпив пять стаканов, барин отправился в угол, раскрыл медальон и пьяными, мутными глазами стал искать дорогое лицо… Но лица уже не было… Оно было выцарапано из медальона ногтями добродетельного Тихона.

Фонарь вспыхнул и потух. В углу скороговоркой забредила богомолка. Малый с рябым лицом вслух помолился богу и растянулся на прилавке. Кто-то еще подъехал… А дождь лил и лил… Холод становился всё сильней и сильней, и, казалось, конца не будет этой подлой, темной осени. Барин впивался глазами в медальон и всё искал женское лицо… Тухла свеча.

Весна, где ты?

В ландо

Дочери действительного статского советника Брындина, Кити и Зина, катались по Невскому в ландо. С ними каталась и их кузина Марфуша, маленькая шестнадцатилетняя провинциалка-помещица, приехавшая на днях в Питер погостить у знатной родни и поглядеть на «достопримечательности». Рядом с нею сидел барон Дронкель, свежевымытый и слишком заметно вычищенный человечек в синем пальто и синей шляпе. Сестры катались и искоса поглядывали на свою кузину. Кузина и смешила и компрометировала их. Наивная девочка, отродясь не ездившая в ландо и не слыхавшая столичного шума, с любопытством рассматривала обивку в экипаже, лакейскую шляпу с галунами, вскрикивала при каждой встрече с вагоном конножелезки… А ее вопросы были еще наивнее и смешнее…

— Сколько получает жалованья ваш Порфирий? — спросила она, между прочим, кивнув на лакея.

— Кажется, сорок в месяц…

— Не-уже-ли?! Мой брат Сережа, учитель, получает только тридцать! Неужели у вас в Петербурге так дорого ценится труд?

— Не задавайте, Марфуша, таких вопросов, — сказала Зина, — и не глядите по сторонам. Это неприлично. А вон поглядите, — поглядите искоса, а то неприлично, — какой смешной офицер! Ха-ха! Точно уксусу выпил! Вы, барон, бываете таким, когда ухаживаете за Амфиладовой.

— Вам, mesdames, смешно и весело, а меня терзает совесть, — сказал барон. — Сегодня у наших служащих панихида по Тургеневе, а я по вашей милости не поехал. Неловко, знаете ли… Комедия, а все-таки следовало бы поехать, показать свое сочувствие… идеям… Mesdames, скажите мне откровенно, приложа руку к сердцу, нравится вам Тургенев?

— О да… понятно! Тургенев ведь…

— Подите же вот… Всем, кого ни спрошу, нравится, а мне… не понимаю! Или у меня мозга нет, или же я такой отчаянный скептик, но мне кажется преувеличенной, если не смешной, вся эта галиматья, поднятая из-за Тургенева! Писатель он, не стану отрицать, хороший… Пишет гладко, слог местами даже боек, юмор есть, но… ничего особенного… Пишет, как и все русские писаки… Как и Григорьевич, как и Краевский… Взял я вчера нарочно из библиотеки «Заметки охотника», прочел от доски до доски и не нашел решительно ничего особенного… Ни самосознания, ни про свободу печати… никакой идеи! А про охоту так и вовсе ничего нет. Написано, впрочем, недурно!

— Очень даже недурно! Он очень хороший писатель! А как он про любовь писал! — вздохнула Кити. — Лучше всех!

— Хорошо писал про любовь, но есть и лучше. Жан Ришпен, например. Что за прелесть! Вы читали его «Клейкую»? Другое дело! Вы читаете и чувствуете, как всё это на самом деле бывает! А Тургенев… что он написал? Идеи всё… но какие в России идеи? Всё с иностранной почвы! Ничего оригинального, ничего самородного!

— А природу как он описывал!

— Не люблю я читать описания природы. Тянет, тянет… «Солнце зашло… Птицы запели… Лес шелестит…» Я всегда пропускаю эти прелести. Тургенев хороший писатель, я не отрицаю, но не признаю за ним способности творить чудеса, как о нем кричат. Дал будто толчок к самосознанию, какую-то там политическую совесть в русском народе ущипнул за живое… Не вижу всего этого… Не понимаю…

— А вы читали его «Обломова»? — спросила Зина. — Там он против крепостного права!

— Верно… Но ведь и я же против крепостного права! Так и про меня кричать?

— Попросите его, чтоб он замолчал! Ради бога! — шепнула Марфуша Зине.

Зина удивленно поглядела на наивную, робкую девочку. Глаза провинциалки беспокойно бегали по ландо, с лица на лицо, светились нехорошим чувством и, казалось, искали, на кого бы излить свою ненависть и презрение. Губы ее дрожали от гнева.

— Неприлично, Марфуша! — шепнула Зина. — У вас слезы!

— Говорят также, что он имел большое влияние на развитие нашего общества, — продолжал барон. — Откуда это видно? Не вижу этого влияния, грешный человек. На меня, по крайней мере, он не имел ни малейшего влияния.

Ландо остановилось возле подъезда Брындиных.

В Москве на Трубной площади

Небольшая площадь близ Рождественского монастыря, которую называют Трубной, или просто Трубой; по воскресеньям на ней бывает торг. Копошатся, как раки в решете, сотни тулупов, бекеш, меховых картузов, цилиндров. Слышно разноголосое пение птиц, напоминающее весну. Если светит солнце и на небе нет облаков, то пение и запах сена чувствуются сильнее, и это воспоминание о весне возбуждает мысль и уносит ее далеко-далеко. По одному краю площадки тянется ряд возов. На возах не сено, не капуста, не бобы, а щеглы, чижи, красавки, жаворонки, черные и серые дрозды, синицы, снегири. Всё это прыгает в плохих, самоделковых клетках, поглядывает с завистью на свободных воробьев и щебечет. Щеглы по пятаку, чижи подороже, остальная же птица имеет самую неопределенную ценность.

— Почем жаворонок?

Продавец и сам не знает, какая цена его жаворонку. Он чешет затылок и запрашивает сколько бог на душу положит — или рубль, или три копейки, смотря по покупателю. Есть и дорогие птицы. На запачканной жердочке сидит полинялый старик-дрозд с ощипанным хвостом. Он солиден, важен и неподвижен, как отставной генерал. На свою неволю он давно уже махнул лапкой и на голубое небо давно уже глядит равнодушно. Должно быть, за это свое равнодушие он и почитается рассудительной птицей. Его нельзя продать дешевле как за сорок копеек. Около птиц толкутся, шлепая по грязи, гимназисты, мастеровые, молодые люди в модных пальто, любители в донельзя поношенных шапках, в подсученных, истрепанных, точно мышами изъеденных брюках. Юнцам и мастеровым продают самок за самцов, молодых за старых… Они мало смыслят в птицах. Зато любителя не обманешь. Любитель издали видит и понимает птицу.

— Положительности нет в этой птице, — говорит любитель, засматривая чижу в рот и считая перья в его хвосте. — Он теперь поет, это верно, но что ж из эстого? И я в компании запою. Нет, ты, брат, мне без компании, брат, запой; запой в одиночку, ежели можешь… Ты подай мне того вон, что сидит и молчит! Тихоню подай! Этот молчит, стало быть, себе на уме…

Между возами с птицей попадаются возы и с другого рода живностью. Тут вы видите зайцев, кроликов, ежей, морских свинок, хорьков. Сидит заяц и с горя солому жует. Морские свинки дрожат от холода, а ежи с любопытством посматривают из-под своих колючек на публику.

— Я где-то читал, — говорит чиновник почтового ведомства, в полинялом пальто, ни к кому не обращаясь и любовно поглядывая на зайца, — я читал, что у какого-то ученого кошка, мышь, кобчик и воробей из одной чашки ели.

— Очень это возможно, господин. Потому кошка битая, и у кобчика, небось, весь хвост повыдерган. Никакой учености тут нет, сударь. У моего кума была кошка, которая, извините, огурцы ела. Недели две полосовал кнутищем, покудова выучил. Заяц, ежели его бить, спички может зажигать. Чему вы удивляетесь? Очень просто! Возьмет в рот спичку и — чирк! Животное то же, что и человек. Человек от битья умней бывает, так и тварь.

В толпе снуют чуйки с петухами и утками под мышкой. Птица всё тощая, голодная. Из клеток высовывают свои некрасивые, облезлые головы цыплята и клюют что-то в грязи. Мальчишки с голубями засматривают вам в лицо и тщатся узнать в вас голубиного любителя.

— Да-с! Говорить вам нечего! — кричит кто-то сердито. — Вы посмотрите, а потом и говорите! Нешто это голубь? Это орел, а не голубь!

Высокий, тонкий человек с бачками и бритыми усами, по наружности лакей, больной и пьяный, продает белую, как снег, болонку. Старуха-болонка плачет.

— Велела вот продать эту пакость, — говорит лакей, презрительно усмехаясь. — Обанкрутилась на старости лет, есть нечего и теперь вот собак да кошек продает. Плачет, целует их в поганые морды, а сама продает от нужды. Ей-богу, факт! Купите, господа! На кофий деньги надобны.

Но никто не смеется. Мальчишка стоит возле и, прищурив один глаз, смотрит на него серьезно, с состраданием.

Интереснее всего рыбный отдел. Душ десять мужиков сидят в ряд. Перед каждым из них ведро, в ведрах же маленький кромешный ад. Там в зеленоватой, мутной воде копошатся карасики, вьюнки, малявки, улитки, лягушки-жерлянки, тритоны. Большие речные жуки с поломанными ногами шныряют по маленькой поверхности, карабкаясь на карасей и перескакивая через лягушек. Лягушки лезут на жуков, тритоны на лягушек. Живуча тварь! Темно-зеленые лини, как более дорогая рыба, пользуются льготой: их держат в особой баночке, где плавать нельзя, но всё же не так тесно…

— Важная рыба карась! Держаный карась, ваше высокоблагородие, чтоб он издох! Его хоть год держи в ведре, а он всё жив! Неделя уж, как поймал я этих самых рыбов. Наловил я их, милостивый государь, в Перерве и оттуда пешком. Караси по две копейки, вьюны по три, а малявки гривенник за десяток, чтоб они издохли! Извольте малявок за пятак. Червячков не прикажете ли?

Продавец лезет в ведро и достает оттуда своими грубыми, жесткими пальцами нежную малявку или карасика, величиной с ноготь. Около ведер разложены лески, крючки, жерлицы, и отливают на солнце пунцовым огнем прудовые червяки.

Около возов с птицей и около ведер с рыбой ходит старец-любитель в меховом картузе, железных очках и калошах, похожих на два броненосца. Это, как его называют здесь, «тип». За душой у него ни копейки, но, несмотря на это, он торгуется, волнуется, пристает к покупателям с советами. За какой-нибудь час он успевает осмотреть всех зайцев, голубей и рыб, осмотреть до тонкостей, определить всем, каждой из этих тварей породу, возраст и цену. Его, как ребенка, интересуют щеглята, карасики и малявки. Заговорите с ним, например, о дроздах, и чудак расскажет вам такое, чего вы не найдете ни в одной книге. Расскажет вам с восхищением, страстно и вдобавок еще и в невежестве упрекнет. Про щеглят и снегирей он готов говорить без конца, выпучив глаза и сильно размахивая руками. Здесь на Трубе его можно встретить только в холодное время, летом же он где-то за Москвой перепелов на дудочку ловит и рыбку удит.

А вот и другой «тип», — очень высокий, очень худой господин в темных очках, бритый, в фуражке с кокардой, похожий на подьячего старого времени. Это любитель; он имеет немалый чин, служит учителем в гимназии, и это известно завсегдатаям Трубы, и они относятся к нему с уважением, встречают его поклонами и даже придумали для него особенный титул: «ваше местоимение». Под Сухаревой он роется в книгах, а на Трубе ищет хороших голубей.

— Пожалуйте! — кричат его голубятники. — Господин учитель, ваше местоимение, обратите ваше внимание на турманов! Ваше местоимение!

— Ваше местоимение! — кричат ему с разных сторон.

— Ваше местоимение! — повторяет где-то на бульваре мальчишка.

А «его местоимение», очевидно, давно уже привыкший к этому своему титулу, серьезный, строгий, берет в обе руки голубя и, подняв его выше головы, начинает рассматривать и при этом хмурится и становится еще более серьезным, как заговорщик.

И Труба, этот небольшой кусочек Москвы, где животных любят так нежно и где их так мучают, живет своей маленькой жизнью, шумит и волнуется, и тем деловым и богомольным людям, которые проходят мимо по бульвару, непонятно, зачем собралась эта толпа людей, эта пестрая смесь шапок, картузов и цилиндров, о чем тут говорят, чем торгуют.

Новая болезнь и старое средство

Сечение по своим симптомам аналогично перемежающейся лихорадке (febris intermittens). Перед сечением больной бледен от спазма периферических сосудов. Зрачки его расширены. Нужно вообще заметить, что вид начальства раздражает вазомоторный центр и nervus oculomotorius. Больной чувствует озноб. Во время сечения мы замечаем повышение температуры и гиперестезию кожи. После сечения больной чувствует жар. Он весь в поту.

На основании этой аналогии я советую учащимся перед уходом в училище принимать хинин.

Толстый и тонкий

На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля: один толстый, другой тонкий. Толстый только что пообедал на вокзале, и губы его, подернутые маслом, лоснились, как спелые вишни. Пахло от него хересом и флер-д’оранжем. Тонкий же только что вышел из вагона и был навьючен чемоданами, узлами и картонками. Пахло от него ветчиной и кофейной гущей. Из-за его спины выглядывала худенькая женщина с длинным подбородком — его жена, и высокий гимназист с прищуренным глазом — его сын.

— Порфирий! — воскликнул толстый, увидев тонкого. — Ты ли это? Голубчик мой! Сколько зим, сколько лет!

— Батюшки! — изумился тонкий. — Миша! Друг детства! Откуда ты взялся?

Приятели троекратно облобызались и устремили друг на друга глаза, полные слез. Оба были приятно ошеломлены.

— Милый мой! — начал тонкий после лобызания. — Вот не ожидал! Вот сюрприз! Ну, да погляди же на меня хорошенько! Такой же красавец, как и был! Такой же душонок и щеголь! Ах ты, господи! Ну, что же ты? Богат? Женат? Я уже женат, как видишь… Это вот моя жена, Луиза, урожденная Ванценбах… лютеранка… А это сын мой, Нафанаил, ученик III класса. Это, Нафаня, друг моего детства! В гимназии вместе учились!

Нафанаил немного подумал и снял шапку.

— В гимназии вместе учились! — продолжал тонкий. — Помнишь, как тебя дразнили? Тебя дразнили Геростратом за то, что ты казенную книжку папироской прожег, а меня Эфиальтом за то, что я ябедничать любил. Хо-хо… Детьми были! Не бойся, Нафаня! Подойди к нему поближе… А это моя жена, урожденная Ванценбах… лютеранка.

Нафанаил немного подумал и спрятался за спину отца.

— Ну, как живешь, друг? — спросил толстый, восторженно глядя на друга. — Служишь где? Дослужился?

— Служу, милый мой! Коллежским асессором уже второй год и Станислава имею. Жалованье плохое… ну, да бог с ним! Жена уроки музыки дает, я портсигары приватно из дерева делаю. Отличные портсигары! По рублю за штуку продаю. Если кто берет десять штук и более, тому, понимаешь, уступка. Пробавляемся кое-как. Служил, знаешь, в департаменте, а теперь сюда переведен столоначальником по тому же ведомству… Здесь буду служить. Ну, а ты как? Небось, уже статский? А?

— Нет, милый мой, поднимай повыше, — сказал толстый. — Я уже до тайного дослужился… Две звезды имею.

Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой; казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съежился, сгорбился, сузился… Его чемоданы, узлы и картонки съежились, поморщились… Длинный подбородок жены стал еще длиннее; Нафанаил вытянулся во фрунт и застегнул все пуговки своего мундира…

— Я, ваше превосходительство… Очень приятно-с! Друг, можно сказать, детства и вдруг вышли в такие вельможи-с! Хи-хи-с.

— Ну, полно! — поморщился толстый. — Для чего этот тон? Мы с тобой друзья детства — и к чему тут это чинопочитание!

— Помилуйте… Что вы-с… — захихикал тонкий, еще более съеживаясь. — Милостивое внимание вашего превосходительства… вроде как бы живительной влаги… Это вот, ваше превосходительство, сын мой Нафанаил… жена Луиза, лютеранка, некоторым образом…

Толстый хотел было возразить что-то, но на лице у тонкого было написано столько благоговения, сладости и почтительной кислоты, что тайного советника стошнило. Он отвернулся от тонкого и подал ему на прощанье руку.

Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и захихикал, как китаец: «хи-хи-хи». Жена улыбнулась. Нафанаил шаркнул ногой и уронил фуражку. Все трое были приятно ошеломлены.

Признательный немец

Я знал одного признательного немца.

Впервые встретил я его во Франкфурте-на-Майне. Он ходил по Dummstrasse[125 - Глупой улице (нем.).] и водил обезьянку. На лице его были написаны голод, любовь к отечеству и покорность судьбе. Он жалобно пел, а обезьянка плясала. Я сжалился над ними и дал им талер.

— О, благодарю вас! — сказал мне немец, прижимая к груди талер. — Благодарю! До могилы я не забуду вашего подаяния!

Во второй раз встретил я этого немца во Франкфурте-на-Одере. Он ходил по Eselstrasse[126 - Ослиной улице (нем.).] и продавал жареные сосиски. Завидев меня, он прослезился, поднял глаза к небу и сказал:

— О, благодарю вас, мейн герр! Я никогда не забуду того талера, которым вы спасли от голода меня и мою покойную обезьяну! Ваш талер тогда дал нам комфорт!

В третий раз встретил я его в России (in diesem Russland). Здесь он преподавал русским детям древние языки, тригонометрию и теорию музыки. В свободное от уроков время он искал себе место директора железной дороги.

— О, я помню вас! — сказал он мне, пожимая мою руку. — Все русские люди нехорошие люди, но вы исключение. Я не люблю русских, но о вас и вашем талере буду помнить до могилы!

Больше мы с ним не встречались.

Мои остроты и изречения

Если я побил, положим, живущего со мной в одном квартале г. Крокодилова в то время, когда он брал с моего домохозяина взятку, то не значит ли это, что я побил его при исполнении им его служебных обязанностей?

У мужика Петра было 5 гусей, 6 уток и 10 кур. На свои именины он зарезал одного гуся и двух кур. Спрашивается, что у него осталось, если известно, что во время обеда заходила к нему одна личность, и что это за личность? Ответ: остались одни только перья.

Принц Гамлет сказал: «Если обращаться с каждым по заслугам, кто же избавится от пощечины?» Неужели это может относиться и к театральным рецензентам?

В России больше охотнорядских мясников, чем мяса.

Превышение власти и административный произвол дантиста заключаются в вырывании здорового зуба рядом с больным. Это сказал один околоточный, читая «Логику» Милля.

Очковая змея — и либералка и в то же время консерва&#769;торка. Либерализм ее заключается в ношении очков. Все же остальные ее качества следует отнести к консерватизму.

Список экспонентов, удостоенных чугунных медалей…

Список экспонентов, удостоенных чугунных медалей по русскому отделу на выставке в Амстердаме

1) Нижегородская ярмарочная комиссия и томская публика — за анонимные письма.

2) Полковник Грачев в Симферополе — за бесподобное направление и сочинительство.

3) Город Москва — за купца Кукина.

4) Уездный помпадур Шлитер в Оренбурге — за приготовление и учет фальшивых векселей.

5) Коллежские регистраторы в Петербурге — за эластические спинные хребты.

6) Консисторские чиновники — за цыганскую совесть.

7) Администрация театра в Ростове-на-Дону — за отменное тупоумие, выразившееся особенно рельефно в постановке живых картин в день тургеневских похорон.

8) Управа в Могилеве-на-Днестре — за подложные свидетельства.

9) Русский целковый — за сжимаемость при всех температурах.

10) Русские просители — за замазку.

11) Кондуктора К.-Х.-А. и Донецкой каменноугольной ж.д. — за зайцев.

12) Педагоги в Твери — за отменную нетенденциозность в оценке таких плохих писателей, как какой-нибудь Тургенев.

13) Г-н Пчельников и его фактотум жидок Гершельман в Московской дирекции театров — за распорядительность, тактичность вообще и за циркуляр к балеринам в особенности.

14) Я — за то, что я

Человек без селезенки.

Дочь Коммерции советника

(Роман)

Коммерции советник Механизмов имеет трех дочерей: Зину, Машу и Сашу. За каждой из них положено в банк по сто тысяч приданого. Впрочем, не в этом дело.

Саша и Маша особенного из себя ничего не представляют. Они отлично пляшут, вышивают, вспыхивают, мечтают, любят поручиков — и больше, кажется, ничего; но зато старшая, Зина, принадлежит к числу редких, недюжинных натур. Легче встретиться на жизненном пути с непьющим репортером, чем с этакой натурой.

Были именины Саши. Мы, соседи-помещики, нарядились в лучшие одежды, запрягли лучших коней и поехали с поздравлениями в имение Механизмова. Лет 20 тому назад на месте этого имения стоял кабак. Кабак рос, рос и вырос в прекраснейшую ферму с садами, прудами, фонтанами и бульдогообразными лакеями. Приехав и поздравив, мы тотчас же сели обедать. Подали суп жульен. Перед жульен мы выпили по две рюмки и закусили.

— Не выпить ли нам по третьей? — предложил Механизмов. — Бог троицу любит и тово… трес хвациунт консылиум[127 - Tres faciunt consilium (лат.) — трое составляют совет.]…Латынь, братцы! Яшка, подай-ка, свиная твоя морда, с того стола селедочку! Господа дворяне, ну-кася! Без церемониев! Митрий Петрыч, же ву при але машер![128 - я вас прошу, начинайте, дорогуша! (искаж. франц. — je vous prie allez, ma ch&#232;re).]

— Ах, папа! — заметила Маша. — Зачем же ты пристаешь? Ты точно купец Водянкин… с угощениями.

— Знаю, что говорю! Твое дело — зась! Это я только при гостях позволяю им на себя тыкать! — зашептал мне через стол Механизмов. — Для цивилизации! А без гостей — ни-ни!

— Из хама не выйдет пана! — вздохнул сидевший рядом со мной генерал с лентой. — Свиньей был, свинья и есть…

Механизмов мало-помалу напился, вспомнил свою кабацкую старину и задурил. Он икал, брался говорить по-французски, сквернословил…

— Перестань! — заметил ему его друг генерал. — Всякому безобразию есть свое приличие! Какой же ты… братец!

— Безображу не за твои деньги, а за свои! Сам «Льва и Солнца» имею! Господа, а сколько вы с меня взяли, чтоб меня в почетные мировые произвести?

На одном конце стола отчаянно заворочался и треснул чей-то стул. Мы поглядели по направлению треска и увидели два больших черных глаза, метавших молнии и искры на Механизмова. Эти два глаза принадлежали Зине, высокой, стройной брюнетке, затянутой во всё черное. По ее бледному лицу бегали розовые пятна, а в каждом пятне сидела злоба.

— Прошу тебя, отец, перестать! — сказала Зина. — Я не люблю шутов!

Механизмов робко взглянул на ее глаза, завертелся, выпил залпом стакан коньяку и умолк.

«Эге! — подумали мы. — Эта не Саша и не Маша… С этой нельзя шутить… Натура недюжинная… Тово-с…»

И я залюбовался разгневанным лицом. Признаюсь, я и ранее был неравнодушен к Зине. Она прекрасна, глядит, как Диана, и вечно молчит. А вечно молчащая дева, сами знаете, носит в себе столько тайн! Это бутыль с неизвестного рода жидкостью — выпил бы, да боишься: а вдруг яд?

После обеда я подошел к Зине и, чтобы показать ей, что есть люди, которые понимают ее, заговорил о среде заедающей, о правде, труде, женской свободе. С женской свободы под влиянием «шофе» переехал я на паспортную систему, денежный курс, женские курсы… Я говорил с жаром, с дрожью, раз десять порывался схватить ее за руку… Говорил, впрочем, искренно и складно, точно передовую статью вслух читал. А она слушала и глядела на меня. Глаза ее становились всё шире и круглее… Щеки заметно побледнели под влиянием моей речи… Наконец в глазах ее почему-то мелькнул испуг.

— Неужели вы говорите всё это искренно? — спросила она, почему-то млея от ужаса.

— Я… не искренно?!.. Вам? Мне… Да клянусь вам, что…

Она схватила меня за руку, нагнулась к моему лицу и, задыхаясь, прошептала:

— Будьте сегодня в десять часов вечера в мраморной беседке… Умоляю вас! Я вам всё скажу! Всё!

Прошептала и скрылась за дверью. Я замер…

«Полюбила! — подумал я, заглядывая на себя в зеркало. — Не устояла!»

Я — к чему скромничать? — обаятельный мужчина. Рослый, статный, с черной, как смоль, бородой… В голубых глазах и на смуглом лице выражение пережитого страдания. В каждом жесте сквозит разочарованность. И, кроме всего этого, я богат. (Состояние нажил я литературой.)

В десятом часу я уже сидел в беседке и умирал от ожидания. В моей голове и в груди шумела буря. В сладкой, мучительной истоме закрывал я глаза и во мраке своих орбит видел Зину… Рядом с ней во мраке торчала почему-то и одна ехидная картинка, виденная мной в каком-то журнале: высокая рожь, дамская шляпка, зонт, палка, цилиндр… Да не осудит читатель меня за эту картинку! Не у одного только меня такая клубничная душа. Я знаю одного поэта-лирика, который облизывается и причмокивает губами всякий раз, когда к нему, вдохновенному, является муза… Ежели поэт позволяет себе такие вольности, то нам, прозаикам, и подавно простительно.

Ровно в десять у дверей беседки показалась освещенная луной Зина. Я подскочил к ней и схватил ее за руку.

— Дорогая моя… — забормотал я. — Я люблю вас… Люблю бешено, страстно!

— Позвольте! — сказала она, садясь и медленно поворачивая ко мне свое бледное лицо. — Отстраните (sic!) вашу руку!

Это было сказано так торжественно, что быстро один за другим повыскакивали из моей головы и цилиндр, и палка, и женская шляпка, и рожь…

— Вы говорите, что вы меня любите… Вы тоже мне нравитесь. Я могу выйти за вас замуж, но прежде всего я должна спасти вас, несчастный. Вы на краю погибели. Ваши убеждения губят вас! Неужели, несчастный, вы этого не видите? И неужели вы смеете думать, что я соединю свою судьбу с человеком, у которого такие убеждения? Нет! Вы мне нравитесь, но я сумею пересилить свое чувство. Спасайтесь же, пока не поздно! На первый раз хоть вот… вот это прочтите! Прочтите и вы увидите, как вы заблуждаетесь!

И она сунула в мою руку какую-то бумагу. Я зажег спичку и в своей бедной руке увидел прошлогодний нумер «Гражданина». Минуту я сидел молча, неподвижно, потом вскочил и схватил себя за голову.

— Батюшки! — воскликнул я. — Одна во всем Лохмотьевском уезде недюжинная натура, да и та… и та дура! Боже мой!

Через десять минут я уже сидел в бричке и катил к себе домой.

Опекун

Я поборол свою робость и вошел в кабинет генерала Шмыгалова. Генерал сидел у стола и раскладывал пасьянс «каприз де дам».

— Что вам, милый мой? — спросил он меня ласково, кивнув на кресло.

— Я к вам, ваше — ство, по делу, — сказал я, садясь и неизвестно для чего застегивая свой сюртук. — Я к вам по делу, имеющему частный характер, не служебный. Я пришел просить у вас руки вашей племянницы Варвары Максимовны.

Генерал медленно повернул ко мне свое лицо, со вниманием поглядел на меня и уронил на пол карты. Он долго шевелил губами и выговорил:

— Вы… тово?.. Вы рехнулись, что ли? Вы рехнулись, я вас спрашиваю? Вы… осмеливаетесь? — прошипел он, багровея. — Вы осмеливаетесь, мальчишка, молокосос?! Осмеливаетесь шутить… милостисдарь…

И, топнув ногою, Шмыгалов крикнул так громко, что даже дрогнули стекла.

— Встать!! Вы забываете, с кем вы говорите! Извольте-с убираться и не показываться мне на глаза! Извольте выйти! Вон-с!

— Но я хочу жениться, ваше превосходительство!

— Можете жениться в другом месте, но не у меня! Вы еще не доросли до моей племянницы, милостисдарь! Вы ей не пара! Ни ваше состояние, ни ваше общественное положение не дают вам права предлагать мне такое… предложение! С вашей стороны это дерзость! Прощаю вам, мальчишка, и прошу вас больше меня не беспокоить!

— Гм… Вы уже пятерых женихов спровадили таким образом… Ну, шестого вам не удастся спровадить. Я знаю причину этих отказов. Вот что, ваше превосходительство… Даю вам честное и благородное слово, что, женившись на Варе, я не потребую от вас ни копейки из тех денег, которые вы растратили, будучи Вариным опекуном. Даю честное слово!

— Повторите, что вы сказали! — проговорил генерал каким-то неестественно-трескучим голосом, нагнувшись и подбежав ко мне рысцой, как раздразненный гусак. — Повтори! Повтори, негодяй!

Я повторил. Генерал побагровел и забегал.

— Этого еще недоставало! — задребезжал он, бегая и поднимая вверх руки. — Недоставало еще, чтобы мои подчиненные наносили мне страшные, несмываемые оскорбления в моем же доме! Боже мой, до чего я дожил! Мне… дурно!

— Но уверяю вас, ваше превосходительство! Не только не потребую, но даже ни единым словом не намекну вам на то, что вы по слабости характера растратили Варины деньги! И Варе прикажу молчать! Честное слово! Чего же вы кипятитесь, комод ломаете? Не отдам под суд!

— Какой-нибудь мальчишка, молокосос… нищий… осмеливается говорить прямо в лицо такие мерзости! Извольте выйти, молодой человек, и помните, что я этого никогда не забуду! Вы меня страшно оскорбили! Впрочем… прощаю вам! Вы сказали эту дерзость по легкомыслию своему, по глупости… Ах, не извольте трогать у меня на столе своими пальцами, чёрт вас возьми! Не трогайте карт! Уходите, я занят!

— Я ничего не трогаю! Что вы выдумываете? Я даю честное слово, генерал! Даю слово, что даже не намекну! И Варе запрещу требовать с вас! Что же вам еще нужно? Чудак вы, ей-богу… Растратили вы десять тысяч, оставленные ее отцом… Ну что ж? Десять тысяч не велики деньги… Можно простить…

— Я ничего не растрачивал… да-с! Я вам сейчас докажу! Сейчас вот… Я докажу!

Генерал дрожащими руками выдвинул из стола ящик, вынул оттуда кипу каких-то бумаг и, красный как рак, начал перелистывать. Перелистывал он долго, медленно и без цели. Бедняга был страшно взволнован и сконфужен. К его счастью, в кабинет вошел лакей и доложил о поданном обеде.

— Хорошо… После обеда я вам докажу! — забормотал генерал, пряча бумаги. — Раз навсегда… во избежание сплетни… Дайте только пообедать… увидите! Какой-нибудь, прости господи… молокосос, шаромыжка… молоко на губах не обсохло… Идите обедать! Я после обеда… вам…

Мы пошли обедать. Во время первого и второго блюда генерал был сердит и нахмурен. Он с остервенением солил себе суп, рычал, как отдаленный гром, и громко двигался на стуле.

— Чего ты сегодня такой злой? — заметила ему Варя. — Не нравишься ты мне, когда ты такой… право…

— Как ты смеешь говорить, что я тебе не нравлюсь! — окрысился на нее генерал.

Во время третьего и последнего блюда Шмыгалов глубоко вздохнул и замигал глазами. По лицу его разлилось выражение пришибленности, забитости… Он стал казаться таким несчастным, обиженным! На лбу и на носу его выступил крупный пот. После обеда генерал пригласил меня к себе в кабинет.

— Голубчик мой! — начал он, не глядя на меня и теребя в руках мою фалду. — Берите Варю, я согласен… Вы хороший, добрый человек… Согласен… Благословляю вас… ее и тебя, мои ангелы… Ты меня извини, что до обеда я бранил тебя здесь… сердился… Это ведь я любя… отечески… Но только тово… я истратил не десять тысяч, а тово… шестнадцать… Я и те, что тетка Наталья ей оставила, ухнул… проиграл… Давай на радостях… шампанского стебанем… Простил?

И генерал уставил на меня свои серые, готовые заплакать и в то же время ликующие глаза. Я простил ему еще шесть тысяч и женился на Варе.

Хорошие рассказы всегда оканчиваются свадьбой!

Знамение времени

В гостиной со светло-голубыми обоями объяснялись в любви.

Молодой человек приятной наружности стоял, преклонив одно колено, перед молодой девушкой и клялся.

— Жить я без вас не могу, моя дорогая! Клянусь вам! — задыхался он. — С тех пор, как я увидел вас, я потерял покой! Дорогая моя, скажите мне… скажите… Да или нет?

Девушка открыла ротик, чтобы ответить, но в это время в дверях показалась голова ее брата.

— Лили, на минутку! — сказал брат.

— Чего тебе? — спросила Лили, выйдя к брату.

— Извини, моя дорогая, что я помешал вам, но… я брат, и моя священная обязанность предостеречь тебя… Будь поосторожнее с этим господином. Держи язык за зубами… Поберегись сказать что-нибудь лишнее.

— Но он делает мне предложение!

— Это твое дело… Объясняйся с ним, выходи за него замуж, но ради бога будь осторожна… Я знаю этого субъекта… Большой руки подлец! Сейчас же донесет, ежели что…

— Merci, Макс… А я и не знала!

Девушка воротилась в гостиную. Она ответила молодому человеку «да», целовалась с ним, обнималась, клялась, но была осторожна: говорила только о любви.

В почтовом отделении

Хоронили мы как-то на днях молоденькую жену нашего старого почтмейстера Сладкоперцева. Закопавши красавицу, мы, по обычаю дедов и отцов, отправились в почтовое отделение «помянуть».

Когда были поданы блины, старик-вдовец горько заплакал и сказал:

— Блины такие же румяненькие, как и покойница. Такие же красавцы! Точь-в-точь!

— Да, — согласились поминавшие, — она у вас действительно была красавица… Женщина первый сорт!

— Да-с… Все удивлялись, на нее глядючи… Но, господа, любил я ее не за красоту и не за добрый нрав. Эти два качества присущественны всей женской природе и встречаются довольно часто в подлунном мире. Я ее любил за иное качество души. А именно-с: любил я ее, покойницу, дай бог ей царство небесное, за то, что она, при бойкости и игривости своего характера, мужу своему была верна. Она была верна мне, несмотря на то, что ей было только двадцать, а мне скоро уж шестьдесят стукнет! Она была верна мне, старику!

Дьякон, трапезовавший с нами, красноречивым мычанием и кашлем выразил свое сомнение.

— Вы не верите, стало быть? — обратился к нему вдовец.

— Не то что не верю, — смутился дьякон, — а так… Молодые жены нынче уж слишком тово… рандеву, соус провансаль…

— Вы сомневаетесь, а я вам докажу-с! Я в ней поддерживал ее верность разными способами, так сказать, стратегического свойства, вроде как бы фортификации. При моем поведении и хитром характере жена моя не могла изменить мне ни в каком случае. Я хитрость употреблял для охранения своего супружеского ложа. Слова такие знаю, вроде как бы пароль. Скажу эти самые слова и — баста, могу спать в спокойствии насчет верности…

— Какие же это слова?

— Самые простые. Я распространял по городу нехороший слух. Вам этот слух доподлинно известен. Я говорил всякому: «Жена моя Алена находится в сожительстве с нашим полицеймейстером Иваном Алексеичем Залихватским». Этих слов было достаточно. Ни один человек не осмеливался ухаживать за Аленой, ибо боялся полицеймейстерского гнева. Как, бывало, увидят ее, так и бегут прочь, чтоб Залихватский чего не подумал. Хе-хе-хе. Ведь с этим усастым идолом свяжись, так потом не рад будешь, пять протоколов составит насчет санитарного состояния. К примеру, увидит твою кошку на улице и составит протокол, как будто это бродячий скот.

— Так жена ваша, значит, не жила с Иваном Алексеичем? — удивились мы протяжно.

— Нет-с, это моя хитрость… Хе-хе… Что, ловко надувал я вас, молодежь? То-то вот оно и есть.

Прошло минуты три в молчании. Мы сидели и молчали, и нам было обидно и совестно, что нас так хитро провел этот толстый красноносый старик.

— Ну, бог даст, в другой раз женишься! — проворчал дьякон.

Юристка

Дочь одного европейского министра юстиции, часто помогавшая своему папа&#769; в составлении всевозможных законопроектов, говорила своему отцу, будучи

18 лет: Запрети, папа&#769;, в своих законах этим негодным женихам приставать к девушкам! Когда они понадобятся, им скажут! Запрети также, кстати, молодым людям жениться ранее 35 лет. Ранние браки отнимают у нас лучших кавалеров!

20 лет: Можно, пожалуй, папа&#769;, позволить жениться и ранее 30 лет. Сделай уж им уступку! Так и быть…

22 лет: Ах да, кстати… Если увидишь министра внутренних дел, то попроси его, чтобы он предписал губернаторам брать с каждого холостяка штраф в размере 30–40 франков в год.

25 лет: Удивляюсь тебе, папа&#769;! Куда девался твой административный гений? Ты словно не замечаешь, что вокруг тебя делается! Как можно скорей проектируй штраф с холостяков в размере 1 500 франков с каждого ежегодно! Надо же, наконец, принять меры!

28 лет: Ты, папа&#769;, просто глуп… Ну, можно ли вести так дело? В уложении о наказаниях у тебя нет ни одной статьи против этих негодных холостяков! Назначь ежегодно поголовный штраф по крайней мере в 10 000 франков! К этому штрафу прибавь месяца 2 тюремного заключения с лишением некоторых особенных прав и преимуществ, и ты скоро не увидишь в нашем государстве ни одной засидевшейся девушки!

30 лет: Сто тысяч франков! Наконец двести тысяч! Скорее! Год тюремного заключения… 30 горячих! А если вам не будут повиноваться, никто не помешает вам потребовать роту солдат! Скоррее… вварвар!!

35 лет: Смертная казнь через расстреляние! Умоляю, отец! Неужели ты не видишь, что я… готова повыцарапать всем глаза? Смертная казнь… Нет… пожизненное одиночное тюремное заключение! Это посильней будет! Да пиши же поскорей…

40 лет: Папочка… милый… ангел… Сходи к министру финансов и попроси его ассигновать сумму для выдачи ежегодных премий холостякам, намеревающимся жениться… Сходи, милый! Будь так добр! И запрети кстати молодым людям жениться на девушках, не достигших 35-40-летнего возраста… Папочка, голубчик!

Из дневника одной девицы

13-го октября. Наконец-то и на моей улице праздник! Гляжу и не верю своим глазам. Перед моими окнами взад и вперед ходит высокий, статный брюнет с глубокими черными глазами. Усы — прелесть! Ходит уже пятый день, от раннего утра до поздней ночи, и всё на наши окна смотрит. Делаю вид, что не обращаю внимания.

15-го. Сегодня с самого утра проливной дождь, а он, бедняжка, ходит. В награду сделала ему глазки и послала воздушный поцелуй. Ответил обворожительной улыбкой. Кто он? Сестра Варя говорит, что он в нее влюблен и что ради нее мокнет на дожде. Как она неразвита! Ну, может ли брюнет любить брюнетку? Мама велела нам получше одеваться и сидеть у окон. «Может быть, он жулик какой-нибудь, а может быть, и порядочный господин», — сказала она. Жулик… quel[129 - какой (франц.).]…Глупы вы, мамаша!

16-го. Варя говорит, что я заела ее жизнь. Виновата я, что он любит меня, а не ее! Нечаянно уронила ему на тротуар записочку. О, коварщик! Написал у себя мелом на рукаве: «После». А потом ходил, ходил и написал на воротах vis-&#224;-vis: «Я не прочь, только после». Написал мелом и быстро стер. Отчего у меня сердце так бьется?

17-го. Варя ударила меня локтем в грудь. Подлая, мерзкая завистница! Сегодня он остановил городового и долго говорил ему что-то, показывая на наши окна. Интригу затевает! Подкупает, должно быть… Тираны и деспоты вы, мужчины, но как вы хитры и прекрасны!

18-го. Сегодня, после долгого отсутствия, приехал ночью брат Сережа. Не успел он лечь в постель, как его потребовали в квартал.

19-го. Гадина! Мерзость! Оказывается, что он все эти двенадцать дней выслеживал брата Сережу, который растратил чьи-то деньги и скрылся.

Сегодня он написал на воротах: «Я свободен и могу». Скотина… Показала ему язык.

В море

(Рассказ матроса)

Видны были только тускнеющие огни оставленной гавани да черное, как тушь, небо. Дул холодный, сырой ветер. Мы чувствовали над собой тяжелые тучи, чувствовали их желание разразиться дождем, и нам было душно, несмотря на ветер и холод.

Мы, матросы, столпившись у себя в кубрике, бросали жеребий. Раздавался громкий, пьяный смех нашей братии, слышались прибаутки, кто-то для потехи пел петухом.

Мелкая дрожь пробегала у меня от затылка до самых пят, точно в моем затылке была дыра, из которой сыпалась вниз по голому телу мелкая холодная дробь. Дрожал я и от холода и от других причин, о которых хочу здесь рассказать.

Человек, по моему мнению, вообще гадок, а матрос, признаться, бывает иногда гаже всего на свете, гаже самого скверного животного, которое все-таки имеет оправдание, так как подчиняется инстинкту. Может быть, я и ошибаюсь, так как жизни не знаю, но мне кажется, все-таки у матроса больше поводов ненавидеть и бранить себя, чем у кого-либо другого. Человеку, который каждую минуту может сорваться с мачты, скрыться навсегда под волной, который знает бога, только когда утопает или летит вниз головой, нет нужды ни до чего, и ничего ему на суше не жаль. Мы пьем много водки, мы развратничаем, потому что не знаем, кому и для чего нужна в море добродетель.

Но буду, однако, продолжать.

Мы бросали жеребий. Нас всех, не занятых, отбывших свою вахту, было двадцать два. Из этого числа только двоим могло выпасть на долю счастье насладиться редким спектаклем. Дело в том, что «каюта для новобрачных», которая была у нас на пароходе, в описываемую ночь имела пассажиров, а в стенах этой каюты было только два отверстия, которыми мы могли распорядиться. Одно отверстие выпилил я сам тонкой пилкой, пробуравив предварительно стену штопором, другое же вырезал ножом один мой товарищ, и оба мы работали больше недели.

— Одно отверстие досталось тебе!

— Кому?

Указали на меня.

— Другое кому?

— Твоему отцу!

Мой отец, старый, горбатый матрос, с лицом, похожим на печеное яблоко, подошел ко мне и хлопнул меня по плечу.

— Сегодня, мальчишка, мы с тобой счастливы, — сказал он мне. — Слышишь, мальчишка? Счастье в одно время выпало тебе и мне. Это что-нибудь да значит.

Он нетерпеливо спросил, который час. Было только одиннадцать.

Я вышел из кубрика, закурил трубку и стал глядеть на море. Было темно, но, надо полагать, и в глазах моих отражалось то, что происходило в душе, так как на черном фоне ночи я различал образы, я видел то, чего так недоставало в моей тогда еще молодой, но уже сгубленной жизни…

В двенадцать я прошелся мимо общей каюты и заглянул в дверь. Новобрачный, молодой пастор с красивой белокурой головой, сидел за столом и держал в руках Евангелие. Он объяснял что-то высокой, худой англичанке. Новобрачная, молодая, стройная, очень красивая, сидела рядом с мужем и не отрывала своих голубых глаз от его белокурой головы. По каюте из угла в угол ходил банкир, высокий, полный старик-англичанин с рыжим отталкивающим лицом. Это был муж пожилой дамы, с которой беседовал новобрачный.

«Пасторы имеют привычку беседовать по целым часам! — подумал я. — Он не кончит до утра!»

В час подошел ко мне отец и, дернув меня за рукав, сказал:

— Пора! Они вышли из общей каюты.

Я мигом слетел вниз по крутой лестнице и направился к знакомой стене. Между этой стеной и стеной корабля был промежуток, полный сажи, воды, крыс. Скоро я услышал тяжелые шаги старика-отца. Он спотыкался о кули, ящики с керосином и бранился.

Я нащупал свое отверстие и вынул из него четырехугольный кусок дерева, который я так долго выпиливал. И я увидел тонкую, прозрачную кисею, сквозь которую пробивался ко мне мягкий, розовый свет. И вместе со светом до моего горячего лица коснулся удушающий, в высшей степени приятный запах; это был, должно быть, запах аристократической спальной. Чтобы увидеть спальную, нужно было раздвинуть кисею двумя пальцами, что я и поспешил сделать.

Я увидел бронзу, бархат, кружева. И всё было залито розовым светом. В полутора саженях от моего лица стояла кровать.

— Пусти меня к твоему отверстию, — сказал отец. нетерпеливо толкая меня в бок. — В твое лучше видно!

Я молчал.

— У тебя, мальчишка, глаза сильнее моих, и для тебя решительно всё равно, глядеть издали или вблизи!

— Тише! — сказал я. — Не шуми, нас могут услышать!

Новобрачная сидела на краю кровати, свесив свои маленькие ноги на мех. Она глядела в землю. Перед ней стоял ее муж, молодой пастор. Он говорил ей что-то, а что именно — не знаю. Шум парохода мешал мне слышать. Пастор говорил горячо, жестикулируя, сверкая глазами. Она слушала и отрицательно качала головой…

— Чёррт, меня укусила крыса! — проворчал отец.

Я плотнее прижал грудь к стене, как бы боясь, чтобы не выскочило сердце. Голова моя горела.

Говорили новобрачные долго. Пастор, наконец, опустился на колени и, протягивая к ней руки, стал ее умолять. Она отрицательно покачала головой. Тогда он вскочил и заходил по каюте. По выражению его лица и по движению рук я догадался, что он угрожал.

Его молодая жена поднялась, медленно пошла к стене, где я стоял, и остановилась у самого моего отверстия. Она стояла неподвижно и думала, а я пожирал глазами ее лицо. Мне казалось, что она страдает, что она борется с собой, колеблется, и в то же время черты ее выражали гнев. Я ничего не понимал.

Вероятно, минут пять мы простояли так лицом к лицу, потом она отошла и, остановившись среди каюты, кивнула своему пастору — в знак согласия, должно быть. Тот радостно улыбнулся, поцеловал у нее руку и вышел из спальной.

Через три минуты дверь отворилась и в спальную вошел пастор, а вслед за ним высокий, полный англичанин, о котором я говорил выше. Англичанин подошел к кровати и спросил о чем-то у красавицы. Та, бледная, не глядя на него, утвердительно кивнула головой.

Англичанин-банкир вынул из кармана какую-то пачку, быть может, пачку банковых билетов, и подал пастору. Тот осмотрел, сосчитал и с поклоном вышел. Старик-англичанин запер за ним дверь…

Я отскочил от стены, как ужаленный. Я испугался. Мне показалось, что ветер разорвал наш пароход на части, что мы идем ко дну.

Старик-отец, этот пьяный, развратный человек, взял меня за руку и сказал:

— Выйдем отсюда! Ты не должен этого видеть! Ты еще мальчик…

Он едва стоял на ногах. Я вынес его по крутой, извилистой лестнице наверх, где уже шел настоящий осенний дождь…

Начальник станции

Начальника станции «Дребезги» зовут Степаном Степанычем, а фамилия его Шептунов. С ним в минувшее лето случился маленький скандал. Этот скандал, несмотря на свою видимую ничтожность, обошелся ему очень дорого. Благодаря ему он потерял свою новую форменную фуражку и веру в человечество.

Летом поезд № 8 проходил через его станцию в 2 часа 40 минут ночи. Время самое неудобное. Вместо того, чтобы спать, Степан Степаныч должен был гулять по платформе и торчать около телеграфистки почти до утра.

Его помощник, Алеутов, каждое лето ездил куда-то жениться, и бедному Шептунову одному приходилось дежурить. Большое свинство со стороны судьбы! Впрочем, он скучал не каждую ночь. Иногда ночью приходила к нему на станцию из соседнего княжеского имения жена управляющего Назара Кузьмича Куцапетова, Марья Ильинична. Дама эта была не особенно молода, не особенно красива, но, господа, в темноте и столб за городового примешь, да, кстати сказать, скука такая же не тетка, как и голод: всё сойдет! Когда Куцапетова приходила на станцию, Шептунов брал ее обыкновенно под руку, спускался с нею вниз с платформы и шел к товарным вагонам. Там, у вагонов, в ожидании поезда № 8, он начинал свои клятвы и продолжал их вплоть до свистка.

Так в одну прекрасную ночь стоял он с Марьей Ильиничной у вагонов и ожидал поезд. По безоблачному небу тихо, чуть заметно плыла луна. Она заливала своим светом станцию, поле, необозримую даль… Кругом было тихо, спокойно… Шептунов держал Марью Ильиничну за талию и молчал. Она тоже молчала. Оба были в каком-то сладостном, тихом, как лунный свет, забытьи…

— Какая чудная погода! — изредка вздыхал Шептунов. — Ты не озябла?

Вместо ответа она теснее и теснее прижималась к его форменному сюртуку.

В 2 часа 20 минут начальник станции поглядел на часы и сказал:

— Скоро поезд придет… Давай, Маша, глядеть на путь… Кто из нас первый увидит огни поезда, тот, значит, дольше любить будет… Давай глядеть…

Они вперили свой взгляд в глубокую даль. Кое-где на бесконечном пути ласково мигали огоньки. Поезда не было еще видно… Вглядываясь в даль, Шептунов увидел нечто другое… Он увидел две длинные тени, шагавшие через шпалы… Тени двигались прямо к нему и делались всё больше и шире… Одна тень, по-видимому, исходила от человеческой фигуры, другая — от длинной палки, которую держала фигура…

Тень приближалась. Скоро послышалось, что насвистывали из «Мадам Анго».

— Не ходить по рельсам! Запрещено… — крикнул Шептунов. — Долой с рельсов!

— Не распоряжайся, сволочь! — послышался ответ.

Обруганный Шептунов рванулся вперед, но в это время Марья Ильинична ухватилась за его фалды.

— Ради бога, Степа! — зашептала она. — Это мой муж! Назарка!

Не успела она это сказать, как Куцапетов стоял уже перед оскорбленным начальником станции. Оскорбленный Шептунов вскрикнул, ударился головой о что-то железное и нырнул под вагон. Выползши на животе из-под вагона, он побежал по полотну. Прыгая через шпалы, спотыкаясь о рельсы, он, как сумасшедший, как собака, которой привязали к хвосту колючую палку, полетел к водокачалке…

«Какая у него, однако… палка!» — думал он, улепетывая.

Добежав до водокачалки, он остановился, чтобы перевести дух, но в это время послышались шаги. Оглянулся он и увидел сзади себя быстро двигавшуюся тень человека с тенью палки. Объятый паническим страхом, он побежал далее.

— Погодите! Постойте! — услышал он за собой голос Куцапетова. — Стойте! Берегитесь! Поезд!

Шептунов поглядел вперед и увидел перед собой поезд с парой страшных, огненных глаз… Волосы его стали дыбом… Сердце застучало и вдруг замерло… Он собрал все свои силы и прыгнул, куда глаза глядят… Секунды четыре он летел в воздухе, потом упал на что-то твердое и покатое и покатился вниз, цепляясь за репейник.

«Насыпь, — подумал он. — Ну, это ничего. Лучше с насыпи скатиться, чем дворянину принять побои от хама».

Через минуту возле его правого уха ступил в лужу большой, тяжеловесный сапог. По спине у него заходили ощупывающие руки…

— Это вы? — услышал он голос Куцапетова. — Вы, Степан Степаныч?

— Пощадите! — простонал Шептунов.

— Что с вами, ангел мой? Чего вы испужались? Это я, Куцапетов! Неужели не узнали? Я бежал за вами, бежал… Кричал, кричал… Чуть было под поезд не попали, ангел мой… Маша, как увидела, что вы побегли, тоже испужалась и на платформе теперь без чувств лежит… Вы, может быть, испужались, что я вас сволочью назвал? Вы не обижайтесь… Я вас за стрелочника принял…

— Ах, не издевайтесь… Если мстить, то мстите поскорей… Я в ваших руках… — простонал Шептунов. — Бейте… увечьте…

— Гм… Что с вами, батюшка? Ведь я к вам по делу шел, благодетель! Я и бежал за вами, чтобы о деле поговорить…

Куцапетов помолчал и продолжал:

— Дело важное-с… Маша моя говорила мне, что вы из-за удовольствия изволите с ней путаться. Я касательно этого ничего-с, потому что мне от Марьи Ильинишны приходится в общем сюжете кукиш с маслом, но ежели рассуждать по справедливости, то соблаговолите со мной договор сделать, потому что я муж, глава все-таки… по писанию. Князь Михайла Дмитрич, когда с ней путались, мне в месяц две четвертные выдавали. А вы сколько пожалуете? Уговор лучше денег. Да вы встаньте-с…

Шептунов поднялся. Чувствуя себя поломанным, исковерканным, он поплелся к насыпи…

— Сколько вы пожалуете? — продолжал Куцапетов. — С вас я четвертную возьму… И потом-с, хотел попросить у вас, нет ли у вас местечка моему племяннику…

Шептунов, ничего не слыша и не видя, кое-как доплелся до станции и повалился в постель. Проснувшись на другой день, он не нашел своей форменной фуражки и одного погона.

Ему и до сих пор совестно.

Клевета

Учитель чистописания Сергей Капитоныч Ахинеев выдавал свою дочку Наталью за учителя истории и географии Ивана Петровича Лошадиных. Свадебное веселье текло как по маслу. В зале пели, играли, плясали. По комнатам, как угорелые, сновали взад и вперед взятые напрокат из клуба лакеи в черных фраках и белых запачканных галстуках. Стоял шум и говор. Учитель математики Тарантулов, француз Падекуа и младший ревизор контрольной палаты Егор Венедиктыч Мзда, сидя рядом на диване, спеша и перебивая друг друга, рассказывали гостям случаи погребения заживо и высказывали свое мнение о спиритизме. Все трое не верили в спиритизм, но допускали, что на этом свете есть много такого, чего никогда не постигнет ум человеческий. В другой комнате учитель словесности Додонский объяснял гостям случаи, когда часовой имеет право стрелять в проходящих. Разговоры были, как видите, страшные, но весьма приятные. В окна со двора засматривали люди, по своему социальному положению не имевшие права войти внутрь.

Ровно в полночь хозяин Ахинеев прошел в кухню поглядеть, всё ли готово к ужину. В кухне от пола до потолка стоял дым, состоявший из гусиных, утиных и многих других запахов. На двух столах были разложены и расставлены в художественном беспорядке атрибуты закусок и выпивок. Около столов суетилась кухарка Марфа, красная баба с двойным перетянутым животом.

— Покажи-ка мне, матушка, осетра! — сказал Ахинеев, потирая руки и облизываясь. — Запах-то какой, миазма какая! Так бы и съел всю кухню! Ну-кася, покажи осетра!

Марфа подошла к одной из скамей и осторожно приподняла засаленный газетный лист. Под этим листом, на огромнейшем блюде, покоился большой заливной осетр, пестревший каперсами, оливками и морковкой. Ахинеев поглядел на осетра и ахнул. Лицо его просияло, глаза подкатились. Он нагнулся и издал губами звук неподмазанного колеса. Постояв немного, он щелкнул от удовольствия пальцами и еще раз чмокнул губами.

— Ба! Звук горячего поцелуя… Ты с кем это здесь целуешься, Марфуша? — послышался голос из соседней комнаты, и в дверях показалась стриженая голова помощника классных наставников, Ванькина. — С кем это ты? А-а-а… очень приятно! С Сергей Капитонычем! Хорош дед, нечего сказать! С женским полонезом тет-а-тет!

— Я вовсе не целуюсь, — сконфузился Ахинеев, — кто это тебе, дураку, сказал? Это я тово… губами чмокнул в отношении… в рассуждении удовольствия… При виде рыбы…

— Рассказывай!

Голова Ванькина широко улыбнулась и скрылась за дверью. Ахинеев покраснел.

«Чёрт знает что! — подумал он. — Пойдет теперь, мерзавец, и насплетничает. На весь город осрамит, скотина…»

Ахинеев робко вошел в залу и искоса поглядел в сторону: где Ванькин? Ванькин стоял около фортепиано и, ухарски изогнувшись, шептал что-то смеявшейся свояченице инспектора.

«Это про меня! — подумал Ахинеев. — Про меня, чтоб его разорвало! А та и верит… и верит! Смеется! Боже ты мой! Нет, так нельзя оставить… нет… Нужно будет сделать, чтоб ему не поверили… Поговорю со всеми с ними, и он же у меня в дураках-сплетниках останется».

Ахинеев почесался и, не переставая конфузиться, подошел к Падекуа.

— Сейчас я в кухне был и насчет ужина распоряжался, — сказал он французу. — Вы, я знаю, рыбу любите, а у меня, батенька, осетр, вво! В два аршина! Хе-хе-хе… Да, кстати… чуть было не забыл… В кухне-то сейчас, с осетром с этим — сущий анекдот! Вхожу я сейчас в кухню и хочу кушанья оглядеть… Гляжу на осетра и от удовольствия… от пикантности губами чмок! А в это время вдруг дурак этот Ванькин входит и говорит… ха-ха-ха… и говорит: «А-а-а… вы целуетесь здесь?» С Марфой-то, с кухаркой! Выдумал же, глупый человек! У бабы ни рожи, ни кожи, на всех зверей похожа, а он… целоваться! Чудак!

— Кто чудак? — спросил подошедший Тарантулов.

— Да вон тот. Ванькин! Вхожу, это, я в кухню… И он рассказал про Ванькина.

— Насмешил, чудак! А по-моему, приятней с барбосом целоваться, чем с Марфой. — прибавил Ахинеев, оглянулся и увидел сзади себя Мзду.

— Мы насчет Ванькина, — сказал он ему. — Чудачина! Входит, это, в кухню, увидел меня рядом с Марфой да и давай штуки разные выдумывать. «Чего, говорит, вы целуетесь?» Спьяна-то ему примерещилось. А я, говорю, скорей с индюком поцелуюсь, чем с Марфой. Да у меня и жена есть, говорю, дурак ты этакий. Насмешил!

— Кто вас насмешил? — спросил подошедший к Ахинееву отец-законоучитель.

— Ванькин. Стою я, знаете, в кухне и на осетра гляжу…

И так далее. Через какие-нибудь полчаса уже все гости знали про историю с осетром и Ванькиным.

«Пусть теперь им рассказывает! — думал Ахинеев, потирая руки. — Пусть! Он начнет рассказывать, а ему сейчас: «Полно тебе, дурак, чепуху городить! Нам всё известно!»

И Ахинеев до того успокоился, что выпил от радости лишних четыре рюмки. Проводив после ужина молодых в спальню, он отправился к себе и уснул, как ни в чем не повинный ребенок, а на другой день он уже не помнил истории с осетром. Но, увы! Человек предполагает, а бог располагает. Злой язык сделал свое злое дело, и не помогла Ахинееву его хитрость! Ровно через неделю, а именно в среду после третьего урока, когда Ахинеев стоял среди учительской и толковал о порочных наклонностях ученика Высекина, к нему подошел директор и отозвал его в сторону.

— Вот что, Сергей Капитоныч, — сказал директор. — Вы извините… Не мое это дело, но все-таки я должен дать понять… Моя обязанность… Видите ли, ходят слухи, что вы живете с этой… с кухаркой… Не мое это дело, но… Живите с ней, целуйтесь… что хотите, только, пожалуйста, не так гласно! Прошу вас! Не забывайте, что вы педагог!

Ахинеев озяб и обомлел. Как ужаленный сразу целым роем и как ошпаренный кипятком, он пошел домой. Шел он домой и ему казалось, что на него весь город глядит, как на вымазанного дегтем… Дома ожидала его новая беда.

— Ты что же это ничего не трескаешь? — спросила его за обедом жена. — О чем задумался? Об амурах думаешь? О Марфушке стосковался? Всё мне, махамет, известно! Открыли глаза люди добрые! У-у-у… вварвар!

И шлеп его по щеке!.. Он встал из-за стола и, не чувствуя под собой земли, без шапки и пальто, побрел к Ванькину. Ванькина он застал дома.

— Подлец ты! — обратился Ахинеев к Ванькину. — За что ты меня перед всем светом в грязи выпачкал? За что ты на меня клевету пустил?

— Какую клевету? Что вы выдумываете!

— А кто насплетничал, будто я с Марфой целовался? Не ты, скажешь? Не ты, разбойник?

Ванькин заморгал и замигал всеми фибрами своего поношенного лица, поднял глаза к образу и проговорил:

— Накажи меня бог! Лопни мои глаза и чтоб я издох, ежели хоть одно слово про вас сказал! Чтоб мне ни дна, ни покрышки! Холеры мало!..

Искренность Ванькина не подлежала сомнению. Очевидно, не он насплетничал.

«Но кто же? Кто? — задумался Ахинеев, перебирая в своей памяти всех своих знакомых и стуча себя по груди. — Кто же?»

— Кто же? — спросим и мы читателя…

Сборник для детей

Предисловие. Милые и дорогие дети! Только тот счастлив в этой жизни, кто честен и справедлив. Мерзавцы и подлецы не могут быть счастливы, а потому будьте честны и справедливы. Не мошенничайте в картах не потому, что за это могут съездить подсвечником, а потому, что это нечестно; почитайте старших не потому, что за непочтение угощают березовой кашей, а потому, что этого требует справедливость. Привожу вам в назидание несколько сказок и повестей…

1. Наказанная скупость. Три приятеля, Иванов, Петров и Смирнов, зашли в трактир пообедать. Иванов и Петров были не скупы, а потому тотчас же потребовали себе по шестидесятикопеечному обеду. Смирнов же, будучи скуп, отказался от обеда. Его спросили о причине отказа.

— Я не люблю трактирных щей, — сказал он. — Да и к тому же у меня в кармане всего-навсего шесть гривен. Надо же и на папиросы себе оставить. Вот что: я скушаю яблоко.

Сказав это, Смирнов потребовал яблоко и стал есть его, с завистью поглядывая на друзей, евших щи и вкусных рябчиков. Но мысль, что он мало потратился, утешала его. Каково же было его удивление, когда на поданном счете прочел он следующее: «2 обеда — 1 р. 20 к.; яблоко — 75 коп.». С этих пор он никогда не скупится и не покупает фруктов в трактирных буфетах.

2. Дурной пример заразителен. Червонец подружился с тестовским рублевым обедом и стал совращать его с пути истины.

— Друг мой! — говорил он рублевому обеду. — Погляди на меня! Я много меньше, но сколь я лучше тебя! Не говоря уже о том сиянии, которое я испускаю из себя, как я дорог! Номинальная моя стоимость равна 5 р. 15 к., а между тем люди дают за меня восемь с хвостиком!

И долго таким образом смущал он рублевый обед. Обед слушал-слушал и наконец совратился. Через несколько времени он говорил русскому кредитному рублю:

— Как жаль мне тебя, несчастный целковый! И как ты смешон! Моя номинальная стоимость равна рублю, а между тем за меня платят теперь в трактирах рубль с четвертаком, ты же… ты! о, стыд! ты дешевле своей стоимости! Ха, ха!

— Друг мой! — кротко заметил ему рубль. — Ты и друг твой, червонец, построили свое величие на моем унижении, и я рад, что мог служить вам!

Рублевому обеду стало стыдно.

3. Примерная неблагодарность. Один благочестивый человек в день своих именин созвал к себе во двор со всего города хромых, слепых, гнойных и убогих и стал угощать их обедом. Угощал он их постными щами, горохом и пирогами с изюмом. «Кушайте во славу божию, братья мои!» — говорил он нищим, упрашивая их есть. Те ели и не благодарили. Пообедав, убогие, хромые, слепые и гнойные наскоро помолились богу и вышли на улицу.

— Ну, что? Как угостил вас благочестивый человек? — обратился к одному из хромых стоявший неподалеку городовой.

Хромой махнул рукой и ничего не ответил. Тогда городовой с тем же вопросом обратился к одному из гнойных.

— Аппетит только испортил! — ответил гнойный, с досадой махнув рукой. — Сегодня нам предстоит еще обедать на похоронах купчихи Ярлыковой!

4. Достойное возмездие. Один злой мальчик имел дурную привычку писать на заборах неприличные слова. Он писал и думал, что не будет за это наказан. Но, дети, ни один злой поступок не проходит без наказания. Однажды, идя мимо забора, злой мальчик взял мел и на самом видном месте написал: «Дурак! Дурак! Дурак!» Проходили мимо забора люди и читали. Прошел Умный, прочел и пошел далее. Прошел Дурак, прочел и отдал злого мальчика под суд за диффамацию.

— Отдаю его под суд не потому, что мне обидно это писанье, — сказал Дурак, — а из принципа!

5. Излишнее усердие. В одной газете завелись черви. Тогда редактор призвал болотных птиц и сказал им: «Клюйте червей!» Птицы стали клевать и склевали не только червей, но и газету, и самого редактора.

6. Ложь до правды стоит. Персидский царь Дарий, умирая, призвал к себе сына своего Артаксеркса и сказал ему:

— Сын мой, я умираю! После моей смерти созови со всей земли мудрецов и предложи им на разрешение эту задачу. Решивших сделай своими министрами.

И, нагнувшись к уху сына, Дарий прошептал ему тайну задачи.

После смерти отца Артаксеркс созвал со всей земли мудрецов и, обратись к ним, сказал:

— Мудрецы! Отец поручил мне дать вам вот эту задачу на разрешение. Кто решит ее, тот будет моим министром.

И Артаксеркс задал мудрецам задачу. Всех мудрецов было пять.

— Но кто же, государь, будет контролировать наши решения? — спросил царя один из мудрецов.

— Никто, — отвечал царь. — Я поверю вашему честному слову. Если вы скажете, что вы решили, я поверю, не проверяя вас.

Мудрецы сели за стол и стали решать задачу. В тот же день вечером один из мудрецов явился к царю и сказал:

— Я решил задачу.

— Отлично. Будь моим министром.

На другой день задача была решена еще тремя мудрецами. Остался за столом один только мудрец, именем Артозостр. Он не мог решить задачи. Прошла неделя, прошел месяц, а он всё сидел за задачей и потел над ее разрешением. Прошел год, прошло два года. Он побледнел, похудел, осунулся, перепачкал сто стоп бумаги, но до решения было еще далеко.

— Вели его казнить, царь! — говорили четыре министра, решившие задачу. — Он, выдавая себя за мудреца, обманывал тебя.

Но царь не казнил Артозостра, а терпеливо ждал. Через пять лет пришел к царю Артозостр, пал перед ним на колени и сказал:

— Государь! Эта задача неразрешима!

Тогда царь поднял мудреца, поцеловал его и сказал:

— Ты прав, мудрый! Эта задача действительно неразрешима. Но, решая ее, ты разрешил главную задачу, написанную на моем сердце: ты доказал мне, что на земле есть еще честные люди. А вы, — обратился он к четырем министрам, — жулики!

Те сконфузились и спросили:

— Теперь нам, стало быть, убираться отсюда?

— Нет, оставайтесь! — сказал Артаксеркс. — Вы хоть и жулики, но мне тяжело с вами расстаться. Оставайтесь.

И они, слава богу, остались.

7. И за зло нужно быть благодарным. «О, Зевс великий! О, сильный громовержец! — молился один поэт Зевсу. — Пошли мне для вдохновения музу! Молю тебя!»

Зевс не учил древней истории. Немудрено поэтому, что он ошибся и вместо Мельпомены послал к поэту Терпсихору. Терпсихора явилась к поэту, и последний вместо того, чтобы работать в журналах и получать за это гонорар, поступил в танцкласс. Танцевал он сто дней и сто ночей напролет, пока не подумал:

«Меня не послушал Зевс. Он посмеялся надо мной. Я просил у него вдохновения, а он научил меня выкидывать коленце…»

И дерзкий написал на Зевса едкую эпиграмму. Громовержец разгневался и швырнул в него одну из своих молний. Так погиб поэт.

Заключение. Итак, дети, добродетель торжествует.

В гостиной

Становилось темней и темней… Свет, исходивший от камина, слегка освещал пол и одну стену с портретом какого-то генерала с двумя звездами. Тишина нарушалась треском горевших поленьев, да изредка сквозь двойные оконные рамы пробивался в гостиную шум шагов и езды по свежему снегу.

Перед камином, на голубой, покрытой кружевной кисеей кушетке, сидела парочка влюбленных. Он, высокий, статный мужчина с роскошными, выхоленными бакенами и правильным греческим носом, сидел развалясь, положа ногу на ногу, и лениво потягивал ароматный дымок из дорогой гаванской сигары. Она, маленькое, хорошенькое созданье с льняными кудрями и быстрыми, лукавыми глазками, сидела рядом с ним и, прижавшись головкой к его плечу, мечтательно глядела на огонь. На лицах обоих была разлита мягкая нега… Движения были полны сладкой истомы…

— Я люблю вас, Василий Лукич! — шептала она. — Ужасно люблю! Вы так красивы! Недаром баронесса глядит на вас, когда бывает у Павла Иваныча. Вы очень нравитесь женщинам, Василий Лукич!

— Гм… Мало ли чего! А как на вас, Настя, профессор смотрит, когда вы Павлу Петровичу приготовляете чай! Он в вас влюблен — это как дважды два…

— Оставьте ваши насмешки!

— Ну, как не любить такое милое существо? Вы прекрасны! Нет, вы не прекрасны, а вы грациозны! Ну, как тут не любить?

Василий Лукич привлек к себе хорошенькое созданье и начал осыпать его поцелуями. В камине раздался треск: загорелось новое полено. С улицы донеслась песня…

— Лучше вас во всем свете нет! Я вас люблю, как тигр или лев…

Василий Лукич сжал в своих объятиях молодую красавицу… Но в это время из передней послышался кашель, и через несколько секунд в гостиную вошел маленький старичок в золотых очках. Василий Лукич вскочил и быстро, в замешательстве, сунул в карман сигару. Молодая девушка вскочила, нагнулась к камину и стала копаться в нем щипцами… Увидев смущенную парочку, старик сердито кашлянул и нахмурился.

— Не обманутый ли это муж? — спросит, быть может, читатель.

Старик прошелся по гостиной и снял перчатки.

— Как здесь накурено! — проговорил он. — Опять ты, Василий, курил мои сигары?

— Никак нет-с, Павел Иваныч! Это… это не я-с…

— Я тебе дам расчет, если еще раз замечу… Ступай, приготовь мне фрачную пару и почисти штиблеты… А ты, Настя, — обратился старик к девушке, — зажги свечи и поставь самовар…

— Слушаю-с! — сказала Настя.

И вместе с Василием вышла из гостиной.

В рождественскую ночь

Молодая женщина лет двадцати трех, с страшно бледным лицом, стояла на берегу моря и глядела в даль. От ее маленьких ножек, обутых в бархатные полусапожки, шла вниз к морю ветхая, узкая лесенка с одним очень подвижным перилом.

Женщина глядела в даль, где зиял простор, залитый глубоким, непроницаемым мраком. Не было видно ни звезд, ни моря, покрытого снегом, ни огней. Шел сильный дождь…

«Что там?» — думала женщина, вглядываясь в даль и кутаясь от ветра и дождя в измокшую шубейку и шаль.

Где-то там, в этой непроницаемой тьме, верст за пять — за десять или даже больше, должен быть в это время ее муж, помещик Литвинов, со своею рыболовной артелью. Если метель в последние два дня на море не засыпала снегом Литвинова и его рыбаков, то они спешат теперь к берегу. Море вздулось и, говорят, скоро начнет ломать лед. Лед не может вынести этого ветра. Успеют ли их рыбачьи сани с безобразными крыльями, тяжелые и неповоротливые, достигнуть берега прежде, чем бледная женщина услышит рев проснувшегося моря?

Женщине страстно захотелось спуститься вниз. Перило задвигалось под ее рукой и, мокрое, липкое, выскользнуло из ее рук, как вьюн. Она присела на ступени и стала спускаться на четвереньках, крепко держась руками за холодные грязные ступени. Рванул ветер и распахнул ее шубу. На грудь пахнуло сыростью.

— Святой чудотворец Николай, этой лестнице и конца не будет! — шептала молодая женщина, перебирая ступени.

В лестнице было ровно девяносто ступеней. Она шла не изгибами, а вниз по прямой линии, под острым углом к отвесу. Ветер зло шатал ее из стороны в сторону, и она скрипела, как доска, готовая треснуть.

Через десять минут женщина была уже внизу, у самого моря. И здесь внизу была такая же тьма. Ветер здесь стал еще злее, чем наверху. Дождь лил и, казалось, конца ему не было.

— Кто идет? — послышался мужской голос.

— Это я, Денис…

Денис, высокий плотный старик с большой седой бородой, стоял на берегу, с большой палкой, и тоже глядел в непроницаемую даль. Он стоял и искал на своей одежде сухого места, чтобы зажечь о него спичку и закурить трубку.

— Это вы, барыня Наталья Сергеевна? — спросил он недоумевающим голосом. — В этакое ненастье?! И что вам тут делать? При вашей комплекцыи после родов простуда — первая гибель. Идите, матушка, домой!

Послышался плач старухи. Плакала мать рыбака Евсея, поехавшего с Литвиновым на ловлю. Денис вздохнул и махнул рукой.

— Жила ты, старуха, — сказал он в пространство, — семьдесят годков на эфтом свете, а словно малый ребенок, без понятия. Ведь на всё, дура ты, воля божья! При твоей старческой слабости тебе на печи лежать, а не в сырости сидеть! Иди отсюда с богом!

— Да ведь Евсей мой, Евсей! Один он у меня, Денисушка!

— Божья воля! Ежели ему не суждено, скажем, в море помереть, так пущай море хоть сто раз ломает, а он живой останется. А коли, мать моя, суждено ему в нынешний раз смерть принять, так не нам судить. Не плачь, старуха! Не один Евсей в море! Там и барин Андрей Петрович. Там и Федька, и Кузьма, и Тарасенков Алешка.

— А они живы, Денисушка? — спросила Наталья Сергеевна дрожащим голосом.

— А кто ж их знает, барыня! Ежели вчерась и третьего дня их не занесло метелью, то, стало быть, живы. Море ежели не взломает, то и вовсе живы будут. Ишь ведь, какой ветер. Словно нанялся, бог с ним!

— Кто-то идет по льду! — сказала вдруг молодая женщина неестественно хриплым голосом, словно с испугом, сделав шаг назад.

Денис прищурил глаза и прислушался.

— Нет, барыня, никто нейдет, — сказал он. — Это в лодке дурачок Петруша сидит и веслами двигает. Петруша! — крикнул Денис. — Сидишь?

— Сижу, дед! — послышался слабый, больной голос.

— Больно?

— Больно, дед! Силы моей нету!

На берегу, у самого льда стояла лодка. В лодке на самом дне ее сидел высокий парень с безобразно длинными руками и ногами. Это был дурачок Петруша. Стиснув зубы и дрожа всем телом, он глядел в темную даль и тоже старался разглядеть что-то. Чего-то и он ждал от моря. Длинные руки его держались за весла, а левая нога была подогнута под туловище.

— Болеет наш дурачок! — сказал Денис, подходя к лодке. — Нога у него болит, у сердешного. И рассудок парень потерял от боли. Ты бы, Петруша, в тепло пошел! Здесь еще хуже простудишься…

Петруша молчал. Он дрожал и морщился от боли. Болело левое бедро, задняя сторона его, в том именно месте, где проходит нерв.

— Поди, Петруша! — сказал Денис мягким, отеческим голосом. — Приляг на печку, а бог даст, к утрене и уймется нога!

— Чую! — пробормотал Петруша, разжав челюсти.

— Что ты чуешь, дурачок?

— Лед взломало.

— Откуда ты чуешь?

— Шум такой слышу. Один шум от ветра, другой от воды. И ветер другой стал: помягче. Верст за десять отседа уж ломает.

Старик прислушался. Он долго слушал, но в общем гуле не понял ничего, кроме воя ветра и ровного шума от дождя.

Прошло полчаса в ожидании и молчании. Ветер делал свое дело. Он становился всё злее и злее и, казалось, решил во что бы то ни стало взломать лед и отнять у старухи сына Евсея, а у бледной женщины мужа. Дождь между тем становился всё слабей и слабей. Скоро он стал так редок, что можно уже было различить в темноте человеческие фигуры, силуэт лодки и белизну снега. Сквозь вой ветра можно было расслышать звон. Это звонили наверху, в рыбачьей деревушке, на ветхой колокольне. Люди, застигнутые в море метелью, а потом дождем, должны были ехать на этот звон, — соломинка, за которую хватается утопающий.

— Дед, вода уж близко! Слышишь?

Дед прислушался, На этот раз он услышал гул, не похожий на вой ветра или шум деревьев. Дурачок был прав. Нельзя уже было сомневаться, что Литвинов со своими рыбаками не воротится на сушу праздновать Рождество.

— Кончено! — сказал Денис. — Ломает!

Старуха взвизгнула и присела к земле. Барыня, мокрая и дрожащая от холода, подошла к лодке и стала слушать. И она услышала зловещий гул.

— Может быть, это ветер! — сказала она. — Ты убежден, Денис, что это лед ломает?

— Божья воля-с!.. За грехи наши, сударыня…

Денис вздохнул и добавил нежным голосом:

— Пожалуйте наверх, сударыня! Вы и так вымокли!

И люди, стоявшие на берегу, услышали тихий смех, смех детский, счастливый… Смеялась бледная женщина. Денис крякнул. Он всегда крякал, когда ему хотелось плакать.

— Тронулась в уме-то! — шепнул он темному силуэту мужика.

В воздухе стало светлей. Выглянула луна. Теперь всё было видно: и море с наполовину истаявшими сугробами, и барыню, и Дениса, и дурачка Петрушу, морщившегося от невыносимой боли. В стороне стояли мужики и держали в руках для чего-то веревки.

Раздался первый явственный треск невдалеке от берега. Скоро раздался другой, третий, и воздух огласился ужасающим треском. Белая бесконечная громада заколыхалась и потемнела. Чудовище проснулось и начало свою бурную жизнь.

Вой ветра, шум деревьев, стоны Петруши и звон — всё умолкло за ревом моря.

— Надо уходить наверх! — крикнул Денис. — Сейчас берег зальет и занесет кригами. Да и утреня сейчас начнется, ребята! Пойдите, матушка-барыня! Богу так угодно!

Денис подошел к Наталье Сергеевне и осторожно взял ее под локти…

— Пойдемте, матушка! — сказал он нежно, голосом, полным сострадания.

Барыня отстранила рукой Дениса и, бодро подняв голову, пошла к лестнице. Она уже не была так смертельно бледна; на щеках ее играл здоровый румянец, словно в ее организм налили свежей крови; глаза не глядели уже плачущими, и руки, придерживавшие на груди шаль, не дрожали, как прежде… Она теперь чувствовала, что сама, без посторонней помощи, сумеет пройти высокую лестницу…

Ступив на третью ступень, она остановилась как вкопанная. Перед ней стоял высокий, статный мужчина в больших сапогах и полушубке…

— Это я, Наташа… Не бойся! — сказал мужчина.

Наталья Сергеевна пошатнулась. В высокой мерлушковой шапке, черных усах и черных глазах она узнала своего мужа, помещика Литвинова. Муж поднял ее на руки и поцеловал в щеку, причем обдал ее парами хереса и коньяка. Он был слегка пьян.

— Радуйся, Наташа! — сказал он. — Я не пропал под снегом и не утонул. Во время метели я со своими ребятами добрел до Таганрога, откуда вот и приехал к тебе… и приехал…

Он бормотал, а она, опять бледная и дрожащая, глядела на него недоумевающими, испуганными глазами. Она не верила…

— Как ты измокла, как дрожишь! — прошептал он, прижимая ее к груди…

И по его опьяневшему от счастья и вина лицу разлилась мягкая, детски добрая улыбка… Его ждали на этом холоде, в эту ночную пору! Это ли не любовь? И он засмеялся от счастья…

Пронзительный, душу раздирающий вопль ответил на этот тихий, счастливый смех. Ни рев моря, ни ветер, ничто не было в состоянии заглушить его. С лицом, искаженным отчаянием, молодая женщина не была в силах удержать этот вопль, и он вырвался наружу. В нем слышалось всё: и замужество поневоле, и непреоборимая антипатия к мужу, и тоска одиночества, и наконец рухнувшая надежда на свободное вдовство. Вся ее жизнь с ее горем, слезами и болью вылилась в этом вопле, не заглушенном даже трещавшими льдинами. Муж понял этот вопль, да и нельзя было не понять его…

— Тебе горько, что меня не занесло снегом или не раздавило льдом! — пробормотал он.

Нижняя губа его задрожала, и по лицу разлилась горькая улыбка. Он сошел со ступеней и опустил жену наземь.

— Пусть будет по-твоему! — сказал он.

И, отвернувшись от жены, он пошел к лодке. Там дурачок Петруша, стиснув зубы, дрожа и прыгая на одной ноге, тащил лодку в воду.

— Куда ты? — спросил его Литвинов.

— Больно мне, ваше высокоблагородие! Я утонуть хочу… Покойникам не больно…

Литвинов прыгнул в лодку. Дурачок полез за ним.

— Прощай, Наташа! — крикнул помещик. — Пусть будет по-твоему! Получай то, чего ждала, стоя здесь на холоде! С богом!

Дурачок взмахнул веслами, и лодка, толкнувшись о большую льдину, поплыла навстречу высоким волнам.

— Греби, Петруша, греби! — говорил Литвинов. — Дальше, дальше!

Литвинов, держась за края лодки, качался и глядел назад. Исчезла его Наташа, исчезли огоньки от трубок, исчез наконец берег…

— Воротись! — услышал он женский надорванный голос.

И в этом «воротись», казалось ему, слышалось отчаяние.

— Воротись!

У Литвинова забилось сердце… Его звала жена; а тут еще на берегу в церкви зазвонили к рождественской заутрене.

— Воротись! — повторил с мольбой тот же голос.

Эхо повторило это слово. Протрещали это слово льдины, взвизгнул его ветер, да и рождественский звон говорил: «Воротись».

— Едем назад! — сказал Литвинов, дернув дурачка за рукав.

Но дурачок не слышал. Стиснув зубы от боли и глядя с надеждою в даль, он работал своими длинными руками… Ему никто не кричал «воротись», а боль в нерве, начавшаяся сызмальства, делалась всё острее и жгучей… Литвинов схватил его за руки и потянул их назад. Но руки были тверды, как камень, и не легко было оторвать их от весел. Да и поздно было. Навстречу лодке неслась громадная льдина. Эта льдина должна была избавить навсегда Петрушу от боли…

До утра простояла бледная женщина на берегу моря. Когда ее, полузамерзшую и изнемогшую от нравственной муки, отнесли домой и уложили в постель, губы ее всё еще продолжали шептать: «Воротись!»

В ночь под Рождество она полюбила своего мужа…

Экзамен

(Из беседы двух очень умных людей)

На днях явился в кабинет отца старший сын и заявил ему, что он желает выйти из-под его опеки и самостоятельно вступить в свет. Заявление это он мотивировал своим недавно наступившим совершеннолетием (ему исполнилось ровно 21 год).

— Хорошо, сын мой! — сказал отец, выслушав его. — Я согласен, но прежде, чем начать самостоятельную жизнь, ты должен выдержать у меня маленький житейский экзамен. Садись, я тебя проэкзаменую…

Сын сел. Отец нахмурился и начал:

— Чем пахнет во рту, когда ешь колбасу?

— Колбасной лавкой.

— Так, сын мой. Что жены мылят без мыла?

— Головы мужей.

— Что было бы, если бы люди ходили вверх ногами?

— Тогда Пироне шил бы шапки, а Поша шил бы сапоги…

— Совершенно верно. Отчего вода в море соленая?

— Оттого, что в нем плавают селедки…

— Старо, старо! Свое что-нибудь придумай!

— Оттого в море вода соленая, что… что… в нем купаются иногда юмористы.

— Пожалуй… Прежде спрашивали: от чего гуси плавают? Мы отвечали: от берега… Теперь ты ответь мне: от чего уплывают гуси лапчатые?

— От долгов, воинской повинности…

— Отчего не носят очков на затылке?

— Потому что очки разбиваются от подзатыльников.

— Почему человека нельзя назвать свиньей?

— Потому что он потащит к мировому.

— Какой чиж кончил курс в университете?

— Доктор Чиж.

— Кого можно назвать падшим созданием?

— Человека, упавшего с каланчи.

— Где можно взять взаймы денег?..

Сын поднял вверх голову и задумался.

— Не знаешь, сынок? Ну, не годишься же ты в свет… Поживи под моей опекой еще месяц!

Через месяц будет новый экзамен.

Либерал

(Новогодний рассказ)

Прекрасную и умилительную картину представляло собой человечество в первый день нового года. Все радовались, ликовали, поздравляли друг друга. Воздух оглашался самыми искренними и сердечными пожеланиями. Все были счастливы и довольны…

Один только губернский секретарь Понимаев был недоволен. В новогодний полдень он стоял на одной из столичных улиц и протестовал. Обняв правой рукой фонарный столб, а левой отмахиваясь неизвестно от чего, он бормотал вещи непростительные и предусмотренные… Возле него стояла его жена и тащила его за рукав. Лицо ее было заплакано и выражало скорбь.

— Идол ты мой! — говорила она. — Наказание ты мое! Глаза твои бесстыжие, махамет! Иди, тебе говорю! Иди, покедова не прошло время, и распишись! Иди, пьяная образина!

— Ни в каком случае! Я образованный человек и не желаю подчиняться невежеству! Иди сама расписывайся, если хочешь, а меня оставь!.. Не желаю быть в рабстве.

— Иди! Ежели ты не распишешься, то горе тебе будет! Выгонят тебя, подлеца моего, и тогда я с голоду, значит, сдыхай? Иди, собака!

— Ладно… И погибну… За правду? Да хоть сейчас!

Понимаев поднял руку, чтобы отмахнуться от жены, и описал ею в воздухе полукруг… Шедший мимо околоточный надзиратель в новой шинели остановился на секунду и, обратясь к Понимаеву, сказал:

— Стыдитесь! Ведите себя по примеру прочих!

Понимаеву стало совестно. Он стыдливо замигал глазами и отдернул от фонарного столба руку. Жена воспользовалась этим моментом и потащила его за рукав вдоль по улице, старательно обходя всё, за что можно ухватиться. Минут через десять, не более, она дотащила своего мужа до подъезда начальника.

— Ну, иди, Алеша! — сказала она нежно, введя мужа на крыльцо. — Иди, Алешечка! Распишись только, да и уходи назад. А я тебе за это коньяку к чаю куплю. Не буду тебя ругать, когда ты выпивши… Не губи ты меня, сироту!

— Ааа… гм… Это, стало быть, его дом? Отлично! Очень хорошо-с! Рраспишемся, чёрт возьми! Так распишемся, что долго будет помнить! Всё ему напишу на этой бумаге! Напишу, какого я мнения! Пусть тогда гонит! А ежели выгонит, то ты виновата! Ты!

Понимаев покачнулся, пхнул плечом дверь и с шумом вошел в подъезд. Там около двери стоял швейцар Егор с свежевыбритой, новогодней физиономией. Около столика с листом бумаги стояли Везувиев и Черносвинский, сослуживцы Понимаева. Высокий и тощий Везувиев расписывался, а Черносвинский, маленький рябенький человечек, дожидался своей очереди. У обоих на лицах было написано: «С Новым годом, с новым счастьем!» Видно было, что они расписывались не только физически, но и нравственно. Увидев их, Понимаев презрительно усмехнулся и с негодованием запахнулся в шубу.

— Разумеется! — заговорил он. — Разумеется! Как не поздравить его пр-во? Нельзя не поздравить! Ха, ха! Надо выразить свои рабские чувства!

Везувиев и Черносвинский с удивлением поглядели на него. Отродясь они не слыхали таких слов!

— Разве это не невежество, не лакейство? — продолжал Понимаев. — Брось, не расписывайся! Вырази протест!

Он ударил кулаком по листу и смазал подпись Везувиева.

— Бунтуешь, ваше благородие! — сказал Егор, подскочив к столу и подняв лист выше головы. — За это, ваше благородие, вашего брата… знаешь как?

В это время дверь отворилась и в подъезд вошел высокий пожилой мужчина в медвежьей шубе и золотой треуголке. Это был начальник Понимаева, Велелептов. При входе его Егор, Везувиев и Черносвинский проглотили по аршину и вытянулись. Понимаев тоже вытянулся, но усмехнулся и крутнул один ус.

— А! — сказал Велелептов, увидев чиновников. — Вы… здесь? М-да… друзья… Понятно… (очевидно, что его пр-во был слегка навеселе). Понятно… И вас также… Спасибо, что не забыли… Спасибо… М-да… Приятно видеть… Желаю вам… А ты, Понимаев, уж назюзюкался? Это ничего, не конфузься… Пей, да дело разумей… Пейте и веселитесь…

— Всяк злак на пользу человека, ваше — ство! — рискнул вставить Везувиев.

— Ну да, понятно… Как ты сказал? Где злак? Ну, идите себе… с богом… Или нет… Вы были уже у Никиты Прохорыча? Не были еще? Отлично. Я дам вам книги… отнесите к нему… Он дал мне почитать «Странник» за два года… Так вот его надо отнести… Пойдемте, я вам дам… Скиньте шубы!

Чиновники сняли шубы и пошли за Велелептовым. Сначала они вошли в приемную, а потом в большую, роскошно убранную залу, где за круглым столом сидела сама генеральша. По обе стороны ее сидели две молодые дамы, одна в белых перчатках, другая в черных. Велелептов оставил в зале чиновников и пошел к себе в кабинет. Чиновники сконфузились.

Минут десять стояли они молча, не двигаясь и не зная, куда девать свои руки. Дамы говорили по-французски и то и дело вскидывали на них глаза… Мука! Наконец из кабинета показался Велелептов, держа в обеих руках по большой связке книг.

— Вот, — сказал он. — Отдайте ему и поблагодарите… Это «Странник». Я читал иногда по вечерам… А вам… спасибо, что не забыли… пришли почтить… Чиновников моих рассматриваете? — обратился Велелептов к дамам. — Хе, хе… Смотрите, смотрите… Это вот Везувиев, это Черносвинский… а это мой Понимаев. Вхожу однажды в дежурную, а он, этот Понимаев, там машину представляет. Каков? Пш! пш! пш! Свистит этак, ногами топочет… Натурально так выходило… М-да… А ну-ка, изобрази! Представь-ка нам.

Дамы вперили в Понимаева глаза и заулыбались. Он закашлялся.

— Не умею… Забыл, ваше — ство… — пробормотал он. — Не могу и не желаю.

— Не желаешь? — удивился Велелептов. — А? Жаль… Шаль, что не можешь уважить старика… Прощай… Обидно… Ступай…

Везувиев и Черносвинский затолкали в бок Понимаева. Да и сам он испугался своего отказа. В глазах его помутилось… Черные перчатки смешались с белыми, лица покосились, мебель запрыгала, и сам Велелептов обратился в большой кивающий палец. Постояв немного и пробормотав что-то, Понимаев прижал к груди «Странник» и вышел на улицу. Там он увидел свою жену, бледную, дрожавшую от холода и ужаса. Везувиев и Черносвинский стояли уже возле нее и, сильно жестикулируя руками, говорили ей что-то ужасное и сразу в оба уха. «Что теперь будет?!» — читалось в их фигурах и движениях. Понимаев, безнадежно взглянув на жену, поплелся с книгами за приятелями.

Воротясь домой, он не обедал и чаю не пил… Ночью его разбудил кошмар.

Он поднялся и поглядел в темноту. Черные и белые перчатки, бакены Велелептова — всё это заплясало перед его глазами, закружилось, и он вспомнил минувшее.

— Скотина я, скотина! — проворчал он. — Протестуй ты, осел, ежели хочешь, но не смей не уважать старших! Что стоило тебе представить машину?

Более он не мог уснуть. Всю ночь до самого утра промучили его угрызения совести, тоска и всхлипывания жены. Поглядевшись утром в зеркало, он увидел не себя, а чью-то другую физиономию, бледную, истощенную, печальную…

— Не пойду на службу! — решил он. — Всё одно… Один конец!

Весь второй день нового года он посвятил хождению из угла в угол.

Ходил он, вздыхал и думал:

— У кого бы это револьвер достать? Чем этак жить, так лучше уж… право… Пулю в лоб, и конец…

На третий день он бежал от тоски на службу.

«Что-то будет?!» — думали все чиновники, поглядывая на него из-за чернильниц.

То же самое думал и Понимаев.

— Что ж? — шепнул он Везувиеву. — Пусть гонит! Ему же скверно будет, ежели руки на себя наложу.

В 11 часов приехал Велелептов. Проходя мимо Понимаева и взглянув на его бледное, сильно похудевшее, испуганное лицо, он остановился, покачал головой и сказал:

— А здорово ты тогда хватил, братец! До сих пор рожа в свои рамки не вошла. Надо быть, друг, поумеренней… Нехорошо… Долго ли здоровье потерять?

И, похлопав Понимаева по плечу, Велелептов прошел далее.

«Только-то?» — подумало всё присутствие.

Понимаев засмеялся от удовольствия. Даже пискнул по-птичьи — так ему было приятно! Но скоро лицо его изменилось… Он нахмурился и осклабился презрительной улыбкой.

— Счастье твое, что я тогда был выпивши! — проворчал он вслух вслед Велелептову. — Счастье твое, а то бы… Помнишь, Везувиев, как я его отщелкал?

Придя со службы домой, Понимаев обедал с большим аппетитом.

Завещание старого, 1883-го года

Любезнейший сын мой, 1884-й год!

Находясь в здравом рассудке и при полной памяти, несколько, впрочем, «под шефе» (был, знаешь, у Саврасенкова и хватил перед отъездом &#189; бутылки финь-шампань; но «шефе» не возбраняет стряпать нотариальные акты никому, даже нотариусам), завещаю тебе следующее:

1) Весь земной шар с его пятью частями света, океанами, Кордильерами, газетами, компрачикосами, Парижем, кокотками обоих полов и всех возрастов, Северным полюсом, персидским порошком, театром Мошнина, мазью Иванова, Шестеркиным, обанкротившимися помещиками, одеколоном, крокодилами, Окрейцем и проч.

2) Денег тебе не завещаю, ибо оных не имею. За всё мое годовое пребывание на земном шаре не видал их нигде, даже в кассе такой богатой дороги, как Лозово-Севастопольская. Нечто похожее на деньги видел я только в ссудных кассах, за голенищами господ кабатчиков, в сундуке таганрогского турка Вальяно и в карманах московских официантов.

3) Купно с старыми калошами завещаю тебе то, что завещали мне деды и прадеды (начиная с 1800 года) и что придется тебе, вероятно, оставить твоим внукам и правнукам:

a) Хор песенников и рожечников.

b) Композиторов полек и вальсов.

c) Рассказчика Гулевича (автора), его фрак, цилиндр и манеры.

Если сумеешь продать это старье старьевщикам-татарам, то тебя назовут по крайней мере благодетелем человечества.

4) Окончи дело Корсова с Закжевским и в угоду московским барыням начни другое.

5) Расставь в этом завещании знаки препинания, а если сам не умеешь, то поручи это сделать кому-нибудь из сотрудников «Будильника».

6) В качестве секретаря беру с собою в Лету поэта и экс-редактора Сталинского.

7) Беру с собою и шубу художника Ч., чем делаю великое одолжение господам эстетикам.

8) Больше я тебе ничего не завещаю.

Твой отец, 1883 год.

С подлинным верно:

Брат моего брата.

Орден

Учитель военной прогимназии, коллежский регистратор Лев Пустяков, обитал рядом с другом своим, поручиком Леденцовым. К последнему он и направил свои стопы в новогоднее утро.

— Видишь ли, в чем дело, Гриша, — сказал он поручику после обычного поздравления с Новым годом. — Я не стал бы тебя беспокоить, если бы не крайняя надобность. Одолжи мне, голубчик, на сегодняшний день твоего Станислава. Сегодня, видишь ли, я обедаю у купца Спичкина. А ты знаешь этого подлеца Спичкина: он страшно любит ордена и чуть ли не мерзавцами считает тех, у кого не болтается что-нибудь на шее или в петлице. И к тому же у него две дочери… Настя, знаешь, и Зина… Говорю, как другу… Ты меня понимаешь, милый мой. Дай, сделай милость!

Всё это проговорил Пустяков заикаясь, краснея и робко оглядываясь на дверь. Поручик выругался, но согласился.

В два часа пополудни Пустяков ехал на извозчике к Спичкиным и, распахнувши чуточку шубу, глядел себе на грудь. На груди сверкал золотом и отливал эмалью чужой Станислав.

«Как-то и уважения к себе больше чувствуешь! — думал учитель, покрякивая. — Маленькая штучка, рублей пять, не больше стоит, а какой фурор производит!»

Подъехав к дому Спичкина, он распахнул шубу и стал медленно расплачиваться с извозчиком. Извозчик, как показалось ему, увидев его погоны, пуговицы и Станислава, окаменел. Пустяков самодовольно кашлянул и вошел в дом. Снимая в передней шубу, он заглянул в залу. Там за длинным обеденным столом сидели уже человек пятнадцать и обедали. Слышался говор и звяканье посуды.

— Кто это там звонит? — послышался голос хозяина. — Ба, Лев Николаич! Милости просим. Немножко опоздали, но это не беда… Сейчас только сели.

Пустяков выставил вперед грудь, поднял голову и, потирая руки, вошел в залу. Но тут он увидел нечто ужасное. За столом, рядом: с Зиной, сидел его товарищ по службе, учитель французского языка Трамблян. Показать французу орден — значило бы вызвать массу самых неприятных вопросов, значило бы осрамиться навеки, обесславиться… Первою мыслью Пустякова было сорвать орден или бежать назад; но орден был крепко пришит, и отступление было уже невозможно. Быстро прикрыв правой рукой орден, он сгорбился, неловко отдал общий поклон и, никому не подавая руки, тяжело опустился на свободный стул, как раз против сослуживца-француза.

«Выпивши, должно быть!» — подумал Спичкин, поглядев на его сконфуженное лицо.

Перед Пустяковым поставили тарелку супу. Он взял левой рукой ложку, но, вспомнив, что левой рукой не подобает есть в благоустроенном обществе, заявил, что он уже отобедал и есть не хочет.

— Я уже покушал-с… Мерси-с… — пробормотал он. — Был я с визитом у дяди, протоиерея Елеева, и он упросил меня… тово… пообедать.

Душа Пустякова наполнилась щемящей тоской и злобствующей досадой: суп издавал вкусный запах, а от паровой осетрины шел необыкновенно аппетитный дымок. Учитель попробовал освободить правую руку и прикрыть орден левой, но это оказалось неудобным.

«Заметят… И через всю грудь рука будет протянута, точно петь собираюсь. Господи, хоть бы скорее обед кончился! В трактире ужо пообедаю!»

После третьего блюда он робко, одним глазком поглядел на француза. Трамблян, почему-то сильно сконфуженный, глядел на него и тоже ничего не ел. Поглядев друг на друга, оба еще более сконфузились и опустили глаза в пустые тарелки.

«Заметил, подлец! — подумал Пустяков. — По роже вижу, что заметил! А он, мерзавец, кляузник. Завтра же донесет директору!»

Съели хозяева и гости четвертое блюдо, съели, волею судеб, и пятое…

Поднялся какой-то высокий господин с широкими волосистыми ноздрями, горбатым носом и от природы прищуренными глазами. Он погладил себя по голове и провозгласил:

— Э-э-э… эп… эп… эпредлагаю эвыпить за процветание сидящих здесь дам!

Обедающие шумно поднялись и взялись за бокалы. Громкое «ура» пронеслось по всем комнатам. Дамы заулыбались и потянулись чокаться. Пустяков поднялся и взял свою рюмку в левую руку.

— Лев Николаич, потрудитесь передать этот бокал Настасье Тимофеевне! — обратился к нему какой-то мужчина, подавая бокал. — Заставьте ее выпить!

На этот раз Пустяков, к великому своему ужасу, должен был пустить в дело и правую руку. Станислав с помятой красной ленточкой увидел наконец свет и засиял. Учитель побледнел, опустил голову и робко поглядел в сторону француза. Тот глядел на него удивленными, вопрошающими глазами. Губы его хитро улыбались и с лица медленно сползал конфуз…

— Юлий Августович! — обратился к французу хозяин. — Передайте бутылочку по принадлежности!

Трамблян нерешительно протянул правую руку к бутылке и… о, счастье! Пустяков увидал на его груди орден. И то был не Станислав, а целая Анна! Значит, и француз сжульничал! Пустяков засмеялся от удовольствия, сел на стул и развалился… Теперь уже не было надобности скрывать Станислава! Оба грешны одним грехом, и некому, стало быть, доносить и бесславить…

— А-а-а… гм!.. — промычал Спичкин, увидев на груди учителя орден.

— Да-с! — сказал Пустяков. — Удивительное дело, Юлий Августович! Как было мало у нас перед праздниками представлений! Сколько у нас народу, а получили только вы да я! Уди-ви-тель-ное дело!

Трамблян весело закивал головой и выставил вперед левый лацкан, на котором красовалась Анна 3-й степени.

После обеда Пустяков ходил по всем комнатам и показывал барышням орден. На душе у него было легко, вольготно, хотя и пощипывал под ложечкой голод.

«Знай я такую штуку, — думал он, завистливо поглядывая на Трамбляна, беседовавшего со Спичкиным об орденах, — я бы Владимира нацепил. Эх, не догадался!»

Только эта одна мысль и помучивала его. В остальном же он был совершенно счастлив.

Контракт 1884 года с человечеством

Марка в 60 к.

Тысяча восемьсот восемьдесят четвертого года, января 1-го дня, мы, нижеподписавшиеся, Человечество с одной стороны и Новый, 1884 год — с другой, заключили между собою договор, по которому:

1) Я, Человечество, обязуюсь встретить и проводить Новый, 1884 год с шампанским, визитами, скандалами и протоколами.

2) Обязуюсь назвать его именем все имеющиеся на земном шаре календари.

3) Обязуюсь возлагать на него великие надежды.

4) Я, Новый, 1884 год, обязуюсь не оправдать этих надежд.

5) Обязуюсь иметь не более 12 месяцев.

6) Обязуюсь дать всем Касьянам, желающим быть именинниками, двадцать девятое февраля.

7) В случае неисполнения одною из сторон какого-либо из пунктов платится 10 000 рублей неустойки кредитными бумажками по гривеннику за рубль.

8) Договор этот с обеих сторон хранить свято и ненарушимо; подлинный договор иметь Человечеству, а копию — Новому, 1884 году.

Новый, 1884 год руку к сему приложил.

Человечество.

Договор этот явлен у меня, Человека без селезенки, временного нотариуса, в конторе моей, находящейся у чёрта на куличках, не имеющим чина Новым, 1884 годом, живущим в календаре губернского секретаря А. Суворина, и Человечеством, живущим под луной, лично мне известными и имеющими законную правоспособность к совершению актов.

Городского сбора взыскано 18 руб. 14 коп., на «Корневильские колокола» 3 руб. 50 коп., в пользу раненных в битве Б. Маркевича с Театрально-литературным комитетом 1 руб. 12 коп.

Нотариус: Человек без селезенки.

М. П.

75 000

Ночью, часов в 12, по Тверскому бульвару шли два приятеля. Один — высокий, красивый брюнет в поношенной медвежьей шубе и цилиндре, другой — маленький, рыженький человек в рыжем пальто с белыми костяными пуговицами. Оба шли и молчали. Брюнет слегка насвистывал мазурку, рыжий угрюмо глядел себе под ноги и то и дело сплевывал в сторону.

— Не посидеть ли нам? — предложил наконец брюнет, когда оба приятеля увидели темный силуэт Пушкина и огонек над воротами Страстного монастыря.

Рыжий молча согласился, и приятели уселись.

— У меня есть к тебе маленькая просьба, Николай Борисыч, — сказал брюнет после некоторого молчания. — Не можешь ли ты, друг, дать мне взаймы рублей десять — пятнадцать? Через неделю отдам…

Рыжий молчал.

— Я не стал бы тебя и беспокоить, если бы не нужда. Скверную штуку сыграла со мной сегодня судьба… Жена дала мне сегодня утром заложить свой браслет… Нужно ей за свою сестренку в гимназию заплатить… Я, знаешь, заложил и вот… при тебе сегодня в стуколку нечаянно проиграл…

Рыжий задвигался и крякнул.

— Пустой ты человек, Василий Иваныч! — сказал он, покрививши рот злой усмешкой. — Пустой человек! Какое ты право имел садиться с барынями играть в стуколку, если ты знал, что эти деньги не твои, а чужие? Ну, не пустой ли ты человек, не фат ли? Постой, не перебивай… Дай я тебе раз навсегда выскажу… К чему эти вечно новые костюмы, эта вот булавка на галстухе? Для тебя ли, нищего, мода? К чему этот дурацкий цилиндр? Тебе, живущему на счет жены, платить пятнадцать рублей за цилиндр, когда отлично, не в ущерб ни моде, ни эстетике, ты мог бы проходить в трехрублевой шапке! К чему это вечное хвастанье своими несуществующими знакомствами? Знаком и с Хохловым, и с Плевако, и со всеми редакторами! Когда ты сегодня лгал о своих знакомствах, у меня за тебя глаза и уши горели! Лжешь и не краснеешь! А когда ты играешь с этими барынями, проигрываешь им женины деньги, ты так пошло и глупо улыбаешься, что просто… пощечины жалко!

— Ну оставь, оставь… Ты не в духе сегодня…

— Ну, пусть это фатовство есть мальчишество, школьничество… Я согласен допустить это, Василий Иваныч… ты еще молод… Но не допущу я… не пойму одной вещи… Как мог ты, играя с теми куклами… сподличать? Я видел, как ты, сдавая, достал себе из-под низу пикового туза!

Василий Иваныч покраснел, как школьник, и начал оправдываться. Рыжий настаивал на своем. Спорили громко и долго. Наконец оба мало-помалу умолкли и задумались.

— Это правда, я сильно завертелся, — сказал брюнет после долгого молчания. — Правда… Весь я потратился, задолжался, растратил кое-что чужое и теперь не знаю, как выпутаться. Знаешь ли ты то невыносимое, скверное чувство, когда всё тело чешется и когда у тебя нет средства от этой чесотки? Нечто вроде этого чувства я испытываю теперь… Весь по уши залез в дебри… Совестно и людей и самого себя… Делаю массу глупостей, гадостей, из самых мелких побуждений, и в то же время никак не могу остановиться… Скверно! Получи я наследство или выиграй, так бросил бы, кажется, всё на свете и родился бы снова… А ты, Николай Борисыч, не осуждай меня… не бросай камня… Вспомни пальмовского Неклюжева…

— Помню я твоего Неклюжева, — сказал рыжий. — Помню… Сожрал чужие деньги, налопался и после обеда захотел покейфовать: перед девчонкой расхныкался!.. До обеда, небось, не похныкал… Стыдно писателям идеализировать подобных подлецов! Не будь у этого Неклюжева счастливой наружности и галантных манер, не влюбилась бы в него купеческая дочка и не было бы раскаяния… Вообще подлецам судьба дает счастливые наружности… Все ведь вы купидоны. Вас любят, в вас влюбляются… Вам страшно везет по части женщин!

Рыжий встал и заходил около скамьи.

— Твоя жена, например… честная, благородная женщина… за что она могла полюбить тебя? За что? И сегодня вот, целый вечер, в то время, когда ты врал и ломался, не отрывала от тебя глаз хорошенькая блондинка… Вас, Неклюжевых, любят, вам жертвуют, а тут всю жизнь работаешь, бьешься как рыба об лед… честен, как сама честность, и — хоть бы одна счастливая минута! А еще тоже… помнишь? Был я женихом твоей жены Ольги Алексеевны, когда она еще не знала тебя, был немножко счастлив, но подвернулся ты и… я пропал…

— Ррревность! — усмехнулся брюнет. — А я и не знал, что ты так ревнив!

По лицу Николая Борисыча пробежало чувство досады и гадливости… Он машинально, сам того не сознавая, протянул вперед руку и… махнул ею. Звук пощечины нарушил тишину ночи… Цилиндр слетел с головы брюнета и покатился по утоптанному снегу. Всё это произошло в одну секунду, неожиданно, и вышло глупо, нелепо. Рыжему тотчас же стало стыдно этой пощечины. Он уткнул лицо в полинялый воротник своего пальто и зашагал по бульвару. Дойдя до Пушкина, он оглянулся на брюнета, постоял минуту неподвижно и, словно испугавшись чего-то, побежал к Тверской…

Василий Иваныч долго просидел молча и не двигаясь. Мимо него прошла какая-то женщина и со смехом подала ему его цилиндр. Он машинально поблагодарил, поднялся и пошел.

«Сейчас зуденье начнется, — думал он через полчаса, взбираясь по длинной лестнице к себе на квартиру. — Достанется мне от супруги за проигрыш! Всю ночь будет проповедь читать! Чёрт бы ее взял совсем! Скажу, что потерял деньги…»

Дойдя до своей двери, он робко позвонил. Его впустила кухарка…

— Проздравляем вас! — сказала ему кухарка, ухмыляясь во всё лицо.

— С чем это?

— А вот увидите-с! Смилостивился бог!

Василий Иванович пожал плечами и вошел в спальную. Там за письменным столом сидела его жена Ольга Алексеевна, маленькая блондиночка с папильотками в волосах. Она писала. Перед ней лежало несколько уже готовых, запечатанных писем. Увидев мужа, она вскочила и бросилась ему на шею.

— Ты пришел? — заговорила она. — Какое счастье! Ты не можешь себе представить, какое счастье! Со мной истерика была, Вася, от такой неожиданности… На, читай!

И она, прыгнув к столу, взяла газету и поднесла ее к лицу мужа.

— Читай! Мой билет выиграл 75 000! Ведь у меня есть билет! Честное слово, есть! Я скрывала его от тебя, потому что… потому что… ты бы заложил его. Николай Борисыч, когда был женихом, подарил мне этот билет, а потом не захотел его взять обратно. Какой хороший человек этот Николай Борисыч! Теперь мы ужасно богаты! Ты теперь исправишься, не будешь вести беспорядочную жизнь. Ведь ты кутил и обманывал меня от недостатков, от бедности. Я это понимаю. Ты умный, порядочный…

Ольга Алексеевна прошлась по комнате и засмеялась.

— Вот неожиданность! Ходила я, ходила из угла в угол, бранила тебя за твое распутство, ненавидела и потом села от тоски газету читать… И вдруг вижу!.. Написала всем письма… сестрам, матери… То-то обрадуются, бедные! Но куда же ты?

Василий Иваныч заглянул в газету… Ошеломленный, бледный, не слушая жены, он простоял некоторое время молча, что-то придумывая, потом надел свой цилиндр и вышел из дому.

— На Большую Дмитровку, номера N N! — крикнул он извозчику.

В номерах он не застал того, кто ему был нужен. Знакомый ему номер был заперт.

«Она, должно быть, в театре, — подумал он, — а из театра… ужинать поехала… Подожду немного…»

И он остался ждать… Прошло полчаса, прошел час… Он прошелся по коридору и поговорил с сонным лакеем… Внизу на номерных часах пробило три… Наконец, потеряв терпение, он начал медленно спускаться вниз к выходу… Но судьба сжалилась над ним…

У самого подъезда он встретился с высокой, тощей брюнеткой, окутанной в длинное боа. За ней по пятам следовал какой-то господин в синих очках и мерлушковой шапке.

— Виноват, — обратился Василий Иваныч к даме. — Могу ли я обеспокоить вас на одну минуту?

Дама и мужчина нахмурились.

— Я сейчас, — сказала дама мужчине и пошла с Василием Ивановичем к газовому рожку. — Что вам нужно?

— Я к тебе… к вам, Надин, по делу, — начал, заикаясь, Василий Иваныч. — Жаль, что с тобою этот господин, а то я бы тебе всё рассказал…

— Да что такое? Мне некогда!

— Завела себе новых обожателей, да и некогда! Хороша, нечего сказать! За что ты прогнала меня от себя под Рождество? Ты не захотела со мной жить, потому что… потому что я тебе не доставлял достаточно средств к жизни… Вот ты и неправа, оказывается… Да… Помнишь ты тот билет, что я подарил тебе на именины? На, читай! Он выиграл 75 000!

Дама взяла в руки газету и жадными, словно испуганными глазами стала искать телеграммы из Петербурга… И она нашла…

В это же самое время другие глаза, заплаканные, тупые от горя, почти безумные, глядели в шкатулку и искали билета… Всю ночь искали эти глаза и не нашли. Билет был украден, и Ольга Алексеевна знала, кто украл его.

В эту же самую ночь рыжий Николай Борисыч ворочался с боку на бок и старался уснуть, но не уснул до самого утра. Ему было стыдно той пощечины.

Марья Ивановна

В роскошно убранной гостиной, на кушетке, обитой темно-фиолетовым бархатом, сидела молодая женщина лет двадцати трех. Звали ее Марьей Ивановной Однощекиной.

— Какое шаблонное, стереотипное начало! — воскликнет читатель. — Вечно эти господа начинают роскошно убранными гостиными! Читать не хочется!

Извиняюсь перед читателем и иду далее. Перед дамой стоял молодой человек лет двадцати шести, с бледным, несколько грустным лицом.

— Ну, вот, вот… Так я и знал, — рассердится читатель. — Молодой человек и непременно двадцати шести лет! Ну, а дальше что? Известно что… Он попросит поэзии, любви, а она ответит прозаической просьбой купить браслет. Или же наоборот, она захочет поэзии, а он… И читать не стану!

Но я все-таки продолжаю. Молодой человек не отрывал глаз от молодой женщины и шептал:

— Я люблю тебя, чудная, даже и теперь, когда от тебя веет холодом могилы!

Тут уж читатель выйдет из терпения и начнет браниться:

— Чёрт их подери! Угощают публику разной чепухой, роскошно убранными гостиными да какими-то Марьями Ивановнами с могильным холодом!

Кто знает, может быть, вы и правы в своем гневе, читатель. А может быть, вы и неправы. Наш век тем и хорош, что никак не разберешь, кто прав, кто виноват. Даже присяжные, судящие какого-нибудь человечка за кражу, не знают, кто виноват: человечек ли, деньги ли, что плохо лежали, сами ли они, присяжные, виноваты, что родились на свет. Ничего не разберешь на этой земле!

Во всяком случае, если вы правы, то и я не виноват. Вы находите, что этот мой рассказ не интересен, не нужен. Допустим, что вы правы и что я виноват… Но тогда допустите хоть смягчающие вину обстоятельства.

В самом деле, могу ли я писать интересное и только нужное, если мне скучно и если вот уже две недели у меня перемежающаяся лихорадка?

— Не пишите, если у вас лихорадка.

Так-то так… Но, чтобы долго не разговаривать, представьте себе, что у меня лихорадка и дурное настроение; в это же самое время у другого литератора тоже лихорадка, у третьего беспокойная жена и болят зубы, четвертый страдает меланхолией. Мы все четверо не пишем. Чем же прикажете наполнить номера газет и журналов? Не теми ли произведениями, которые вы, читатели, шлете ежедневно пудами в редакции наших газет и журналов? Из ваших тяжелых пудов едва ли можно выбрать маленький золотничок, да и то с великой натяжкой, с великим усилием.

Мы все, профессиональные литераторы, не дилетанты, а настоящие литературные поденщики, сколько нас есть, такие же люди-человеки, как и вы, как и ваш брат, как и ваша свояченица, у нас такие же нервы, такие же внутренности, нас мучает то же самое, что и вас, скорбей у нас несравненно больше, чем радостей, и если бы мы захотели, то каждый день могли бы иметь повод к тому, чтобы не работать. Каждый день, уверяю вас! Но если бы мы послушались вашего «не пишите», если бы мы все поддались усталости, скуке или лихорадке, то тогда хоть закрывай всю текущую литературу.

А ее нельзя закрывать ни на один день, читатель. Хотя она и кажется вам маленькой и серенькой, неинтересной, хотя она и не возбуждает в вас ни смеха, ни гнева, ни радости, но всё же она есть и делает свое дело. Без нее нельзя… Если мы уйдем и оставим наше поле хоть на минуту, то нас тотчас же заменят шуты в дурацких колпаках с лошадиными бубенчиками, нас заменят плохие профессора, плохие адвокаты да юнкера, описывающие свои нелепые любовные похождения по команде: левой! правой!

Я должен писать, несмотря ни на скуку, ни на перемежающуюся лихорадку. Должен, как могу и как умею, не переставая. Нас мало, нас можно пересчитать по пальцам. А где мало служащих, там нельзя проситься в отпуск, даже на короткое время. Нельзя и не принято.

— Но все-таки могли бы сюжет избрать посерьезнее! Ну что толку в этой Марье Ивановне, право? Мало ли кругом таких явлений, мало ли кругом вопросов, которые…

Вы правы, много и явлений и вопросов, но укажите, что собственно вам нужно. Если вы так возмущены, то укажите, заставьте меня окончательно поверить, что вы правы, что вы в самом деле очень серьезный человек и что ваша жизнь очень серьезна. Укажите же, будьте определенны, иначе я могу подумать, что вопросов и явлений, о которых вы говорите, нет вовсе, что вы просто милый малый, которому иногда нравится от нечего делать потолковать о серьезном.

Но пора, однако, кончить рассказ.

Долго стоял молодой человек перед прекрасной женщиной. Наконец он снял сюртук, стащил с себя сапоги и прошептал:

— Прощай, до завтра!

Затем он растянулся на диване и укрылся плюшевым одеялом.

— При даме?! — изумится читатель. — Да это чушь, чепуха! Это возмутительно! Городовой! Цензура!

Да постойте, не спешите, серьезный, строгий, глубокомысленный читатель. Дама в роскошно убранной гостиной была написана масляными красками на холсте и висела над диваном. Теперь можете возмущаться сколько вам угодно.

И как это терпит бумага! Если печатают такой вздор, как «Марья Ивановна», то, очевидно, потому, что лет более ценного материала. Это очевидно. Садитесь же поскорее, излагайте ваши глубокие, великолепные мысли, напишите целые три пуда и пошлите в какую-нибудь редакцию. Садитесь поскорей и пишите! Пишите и посылайте поскорей!

И вам возвратят назад.

Молодой человек

За столом, покрытым внушительными чернильными пятнами, сидит Правдолюбов. Перед ним стоит Упрямов, молодой человек с выражением легкомыслия на лице.

Правдолюбов (со слезами на глазах). Молодой человек! У меня у самого есть дети… есть сердце… Я понимаю… потому-то мне так и горько. Уверяю вас, как честный человек, что ваше запирательство послужит вам только во вред. Скажите нам откровенно, куда вы шли сейчас?

Упрямов. В… в редакцию юмористического журнала.

Правдолюбов. Гм… Вы, стало быть, юморист? (Качает укоризненно головой.) Стыдитесь! Так молод и так испорчен… А это что у вас в руках?

Упрямов. Рукописи.

Правдолюбов. Дайте их сюда! (Берет и рассматривает.) Тэк-с… посмотрим… Это что такое?

Упрямов. Темы для передовых рисунков.

Правдолюбов (вспыхивает негодованием, но, скоро поборов чувство, становится хладнокровным и беспристрастным &#224; la судебный пристав). Это что же нарисовано?

Упрямов. Это, видите ли, нарисован человек. Одной ногой стоит он в России, другой в Австрии. Он показывает фокусы. «Господа! — говорит он. — Рубль, переложенный из правого кармана в левый, обращается в 65 копеек!» В пандан к этому рисунку приложен другой. Вы видите, вот кредитный рубль с ручками и ножками. Он то и дело падает, а за ним бегает немец и обрезывает его ножницами… Поняли? Это вот кабак… Это вот наша пресса, а это пресс… А это вот насадители березового леса; тут же и дети, просящие каши… Каша, как известно, разная бывает… Тут вот нарисован лакей…

Правдолюбов. А кто это в мышеловке?

Упрямов. Это тайный советник Россицкий; на крючке казенное сало…

Правдолюбов (при слове «сало» облизывается). Тайный Советник… (Краснеет за человечество.) Так молод и так испорчен… Да знаете ли вы, милостисдарь, что тайный советник соответствует в армии генерал-лейтенанту? Неужели вы этого не понимаете? Какое грубое непонимание, какое профанирование! (Вздыхает.) Что же мне теперь делать с вами? Что? (Задумывается, но скоро личное чувство берет верх над чувством долга, и добыча выскользает из рук.) Не могу я вас видеть, жалкий, несчастный молодой человек! Вы мне противны, вы жалки! Идите прочь! Пусть наказанием послужит вам мое презрение!

Упрямов (нисколько не раскаиваясь и улыбаясь двусмысленно, уходит в редакцию).

Комик

Комик Иван Акимович Воробьев-Соколов заложил руки в карманы своих широких панталон, повернулся к окну и устремил свои ленивые глаза на окно противоположного дома. Прошло минут пять в молчании…

— Ску-ка! — зевнула ing&#233;nue Марья Андреевна. — Что же вы молчите, Иван Акимыч? Коли пришли и помешали зубрить роль, то хоть разговаривайте! Несносный вы, право…

— Гм… Собираюсь сказать вам одну штуку, да как-то неловко… Скажешь вам спроста, без деликатесов… по-мужицки, а вы сейчас и осудите, на смех поднимете… Нет, не скажу лучше! Удержу язык мой от зла…

«О чем же это он собирается говорить? — подумала ing&#233;nue. — Возбужден, как-то странно смотрит, переминается с ноги на ногу… Уж не объясниться ли в любви хочет? Гм… Беда с этими сорванцами! Вчера первая скрипка объяснялась, сегодня всю репетицию резонер провздыхал… Перебесились все от скуки!»

Комик отошел от окна и, подойдя к комоду, стал рассматривать ножницы и баночку от губной помады.

— Тэк-ссс… Хочется сказать, а боюсь… неловко… Вам скажешь спроста, по-российски, а вы сейчас: невежа! мужик! то да се… Знаем вас… Лучше уж молчать…

«А что ему сказать, если он в самом деле начнет объясняться в любви? — продолжала думать ing&#233;nue. — Он добрый, славный такой, талантливый, но… мне не нравится. Некрасив уж больно… Сгорбившись ходит, и на лице какие-то волдыри… Голос хриплый… И к тому же эти манеры… Нет, никогда!»

Комик молча прошелся по комнате, тяжело опустился в кресло и с шумом потянул к себе со стола газету. Глаза его забегали по газете, словно ища чего-то, потом остановились на одной букве и задремали.

— Господи… хоть бы мухи были! — проворчал он. — Все-таки веселей…

«Впрочем, у него глаза недурны, — продолжала думать ing&#233;nue. — Но что у него лучше всего, так это характер, а у мужчины не так важна красота, как душа, ум… Замуж еще, пожалуй, можно пойти за него, но так жить с ним… ни за что! Как он, однако, сейчас на меня взглянул… Ожег! И чего он робеет, не понимаю!»

Комик тяжело вздохнул и крякнул. Видно было, что ему дорого стоило его молчание. Он стал красен, как рак, и покривил рот в сторону… На лице его выражалось страдание…

«Пожалуй, с ним и так жить можно, — не переставала думать ing&#233;nue. — Содержание он получает хорошее… Во всяком случае, с ним лучше жить, чем с каким-нибудь оборвышем капитаном. Право, возьму и скажу ему, что я согласна! Зачем обижать его, бедного, отказом? Ему и так горько живется!»

— Нет! Не могу! — закряхтел комик, поднимаясь и бросая газету. — Ведь этакая у меня разанафемская натура! Не могу себя побороть! Бейте, браните, а уж я скажу, Марья Андреевна!

— Да говорите, говорите. Будет вам юродствовать!

— Матушка! Голубушка! Простите великодушно… ручку целую коленопреклоненно…

На глазах комика выступили слезы с горошину величиной.

— Да говорите… противный! Что такое?

— Нет ли у вас, голубушка… рюмочки водочки? Душа горит! Такие во рту после вчерашнего перепоя окиси, закиси и перекиси, что никакой химик не разберет! Верите ли? Душу воротит! Жить не могу!

Ing&#233;nue покраснела, нахмурилась, но потом спохватилась и выдала комику рюмку водки… Тот выпил, ожил и принялся рассказывать анекдоты.

Нечистые трагики и прокаженные драматурги

Ужасно-страшно-возмутительно-отчаянная трррагедия

Действий много, картин еще больше

Действующие лица:

Мих. Вал. Лентовский, мужчина и антрепренер.

Тарновский, раздирательный мужчина; с чертями, китами и крокодилами на «ты»; пульс 225, температура 42,8°.

Публика, дама приятная во всех отношениях; кушает всё, что подают.

Карл XII, король шведский; манеры пожарного.

Баронесса, брюнетка не без таланта; не отказывается от пустяковых ролей.

Генерал Эренсверд, ужасно крупный мужчина с голосом мастодонта.

Делагарди, обыкновенный мужчина; читает роль с развязностью… суфлера.

Стелла. сестра антрепренера.

Бурль, мужчина, вывезенный на плечах Свободина.

Ганзен.

Прочие.

Эпилог[130 - Я хотел было поставить: «Пролог» но редакция говорит, что тут чем невероятнее, тем лучше. Как им угодно!]

Кратер вулкана. За письменным столом, покрытым кровью, сидит Тарновский; на его плечах вместо головы череп; во рту горит сера; из ноздрей выскакивают презрительно улыбающиеся зеленые чёртики. Перо макает он не в чернильницу, а в лаву, которую мешают ведьмы. Страшно. В воздухе летают бегающие по спине мурашки. В глубине сцены висят на раскаленных крючьях трясущиеся поджилки. Гром и молния. Календарь Алексея Суворина (губернского секретаря) лежит тут же и с бесстрастностью судебного пристава предсказывает столкновение Земли с Солнцем, истребление вселенной и повышение цен на аптекарские товары. Хаос, ужас, страх… Остальное дополнит фантазия читателя.

Тарновский (грызя перо). Что бы такое написать, чёррт возьми? Никак не придумаю! «Путешествие на Луну» уже было… «Бродяга» тоже был…(Пьет горящую нефть.) Надо придумать еще что-нибудь… этакое, чтоб замоскворецким купчихам три дня подряд черти снились… (Трет себе лобную кость.) Гм… Шевелитесь же вы, великие мозги! (Думает; гром и молния; слышен залп из тысячи пушек, исполненных по рисунку г. Шехтеля; из щелей выползают драконы, вампиры и змеи; в кратер падает большой сундук, из которого выходит Лентовский, одетый в большую афишу.)

Лентовский. Здорово, Тарновский!

Тарновский, Ведьмы, Прочие (вместе). Здравия желаем, ваше-ство!

Лентовский. Ну что? Готова пьеса, чёрррт возьми? (Машет дубинкой.)

Тарновский. Никак нет, Михаил Валентиныч… Думаю вот, сижу и никак не придумаю. Уж слишком трудную задачу задали вы мне! Вы хотите, чтобы от моей пьесы стыла у публики кровь, чтобы в сердцах замоскворецких купчих произошло землетрясение, чтобы лампы тухли от моих монологов… Но, согласитесь, это выше сил даже такого великого драматурга, как Тарновский! (Похвалив себя, конфузится.)

Лентовский. Ппустяки, чёррт возьми! Побольше пороху, бенгальского огня, трескучих монологов — вот и всё! В интересах костюмировки возьмите, чёрррт возьми, высший круг… Измена… Тюрьма… Возлюбленная заключенного насилием выдается замуж за злодея… Роль злодея дадим Писареву…Далее — бегство из тюрьмы… выстрелы… Я не пожалею пороху… Далее — ребенок, знатное происхождение которого открывается только впоследствии… В конце концов опять выстрелы, опять пожар и торжество добродетели… Одним словом, стряпайте по шаблону, как стряпаются Рокамболи и графы Монте-Кристо…(Гром, молния, иней, роса. Извержение вулкана. Лентовский выбрасывается наружу.)

Действие первое

Публика, капельдинеры, Ганзен и прочие.

Капельдинеры (стаскивая с публики шубы). На чаек бы с вашей милости! (Не получив на чаек, хватают публику за фалды.) О, черная неблагодарность!!! (Стыдятся за человечество.)

Один из публики. Что, выздоровел Лентовский?

Капельдинер. Драться уж начал, значит выздоровел!

Ганзен (одеваясь в уборной). Удивлю же я их! Я покажу им! Во всех газетах заговорят!

Действие продолжается, но читатель нетерпелив: он жаждет 2-го действия, а посему — занавес!

Действие второе

Дворец Карла XII. За сценой Вальц глотает шпаги и раскаленные уголья. Гром и молния. Карл XII и его царедворцы.

Карл (шагает по сцене и вращает белками). Делагарди! Вы изменили отечеству! Отдайте вашу шпагу капитану и извольте шествовать в тюрьму!

Делагарди (говорит несколько прочувствованных слов и уходит).

Карл. Тарновский! Вы в вашей раздирательной пьесе заставили меня прожить лишних десять лет! Извольте отправляться в тюрьму! (Баронессе.) Вы любите Делагарди и имеете от него ребенка. В интересах фабулы я не должен знать этого обстоятельства и должен отдать вас замуж за нелюбимого человека. Выходите за генерала Эренсверда.

Баронесса (выходя за генерала). Ах!

Генерал Эренсверд. Я их допеку! (Назначается смотрителем тюрьмы, в которой заключены Делагарди и Тарновский.)

Карл. Ну, теперь я свободен вплоть до пятого действия. Пойду в уборную!

Действие третье и четвертое

Стелла (играет по обыкновению недурно). Граф, я люблю вас!

Молодой граф. И я вас люблю, Стелла, но, заклинаю вас во имя любви, скажите мне, на кой чёрт припутал меня Тарновский к этой канители? На что я ему нужен? Какое отношение я имею к его фабуле?

Бурль. А всё это Спрут наделал! По его милости я попал в солдаты. Он бил меня, гнал, кусал… И не будь я Бурль, если это не он написал эту пьесу! Он на всё готов, чтобы только допечь меня!

Стелла (узнав свое происхождение). Иду к отцу и освобожу его! (На дороге к тюрьме встречается с Ганзеном. Ганзен выкидывает антраша.)

Бурль. По милости Спрута я попал в солдаты и участвую в этой пьесе. Наверное, и Ганзена, чтобы допечь меня, заставил плясать этот Спрут! Ну подожди же! (Падают мосты. Сцена проваливается. Ганзен делает прыжок, от которого становится дурно всем присутствующим старым девам.)

Действие пятое и шестое

Стелла (знакомится в тюрьме с папашей и придумывает с ним план бегства). Я спасу тебя, отец… Но как бы сделать так, чтобы с нами не бежал и Тарновский? Убежав из тюрьмы, он напишет новую драму!

Генерал Эренсверд (терзает баронессу и заключенных). Так как я злодей, то я не должен ничем походить на человека! (Ест сырое мясо.)

Делагарди иСтелла (бегут из тюрьмы).

Все. Держи! Лови!

Делагарди. Как бы там ни было, а мы все-таки убежим и останемся целы! (Выстрел.) Плевать! (Падает мертвый.) И на это плевать! Автор убивает, он же и воскрешает! (Является из уборной Карл и повелевает добродетели торжествовать над пороком. Всеобщее ликование. Улыбается луна, улыбаются и звезды.)

Публика (указывая Бурлю на Тарновского). Вот он, Спрут! Лови!

Бурль (душит Тарновского. Тарновский падает мертвый, но тотчас же вскакивает. Гром, молния, иней, убийство Коверлей, великое переселение народов, кораблекрушение и сбор всех частей).

Лентовский. А все-таки я не удовлетворен! (Проваливается.)

Perpetuum mobile

Судебный следователь Гришуткин, старик, начавший службу еще в дореформенное время, и доктор Свистицкий, меланхолический господин, ехали на вскрытие. Ехали они осенью по проселочной дороге. Темнота была страшная, лил неистовый дождь.

— Ведь этакая подлость, — ворчал следователь. — Не то что цивилизации и гуманности, даже климата порядочного нет. Страна, нечего сказать! Европа тоже, подумаешь… Дождь-то, дождь! Словно нанялся, подлец! Да вези ты, анафема, поскорей, если не хочешь, чтобы я тебе, подлецу этакому, негодяю, все зубы выбил! — крикнул он работнику, сидевшему на козлах.

— Странно, Агей Алексеич! — говорил доктор, вздыхая и кутаясь в мокрую шубу. — Я даже не замечаю этой погоды. Меня гнетет какое-то странное, тяжелое предчувствие. Вот-вот, кажется мне, стрясется надо мной какое-то несчастие. А я верю в предчувствия и… жду. Всё может случиться. Трупное заражение… смерть любимого существа…

— Хоть при Мишке-то постыдитесь говорить о предчувствиях, баба вы этакая. Хуже того, что есть, не может быть. Этакий дождь — чего хуже? Знаете что, Тимофей Васильич? Я более не в состоянии так ехать. Хоть убейте, а не могу. Нужно остановиться где-нибудь переночевать… Кто тут близко живет?

— Яван Яваныч Ежов, — сказал Мишка. — Сейчас за лесом, только мостик переехать.

— Ежов? Валяй к Ежову! Кстати, давно уж не был у этого старого грешника.

Проехали лес и мостик, повернули налево, потом направо и въехали в большой двор председателя мирового съезда, отставного генерал-майора Ежова.

— Дома! — сказал Гришуткин, вылезая из тарантаса и глядя на окна дома, которые светились. — Это хорошо, что дома. И напьемся, и наедимся, и выспимся… Хоть и дрянной человечишка, но гостеприимен, надо отдать справедливость.

В передней встретил их сам Ежов, маленький, сморщенный старик с лицом, собравшимся в колючий комок.

— Очень кстати, очень кстати, господа… — заговорил он. — А мы только что сели ужинать и буженину едим, тридцать три моментально. А у меня, знаете, товарищ прокурора сидит. Спасибо ему, ангелу, заехал за мной. Завтра с ним на съезд ехать. У нас завтра съезд… тридцать три моментально…

Гришуткин и Свистицкий вошли в зал. Там стоял большой стол, уставленный закусками и винами. За одним прибором сидела дочь хозяина Надежда Ивановна, молодая брюнетка, в глубоком трауре по недавно умершем муже; за другим, рядом с ней, товарищ прокурора Тюльпанский, молодой человек с бачками и множеством синих жилок на лице.

— Знакомы? — говорил Ежов, тыча во всех пальцами. — Это вот прокурор, это — дочь моя…

Брюнетка улыбнулась и, прищурив глаза, подала новоприбывшим руку.

— Итак… с дорожки, господа! — сказал Ежов, наливая три рюмки. — Дерзайте, людие божии! И я выпью за компанию, тридцать три моментально. Ну-с, будемте здоровы…

Выпили. Гришуткин закусил огурчиком и принялся за буженину. Доктор выпил и вздохнул. Тюльпанский закурил сигару, попросив предварительно у дамы позволения, причем оскалил зубы так, что показалось, будто у него во рту по крайней мере сто зубов.

— Ну, что ж, господа? Рюмки-то ведь не ждут! А? Прокурор! Доктор! За медицину! Люблю медицину. Вообще люблю молодежь, тридцать три моментально. Что бы там ни говорили, а молодежь всегда будет идти впереди. Ну-с, будемте здоровы.

Разговорились. Говорили все, кроме прокурора Тюльпанского, который сидел, молчал и пускал через ноздри табачный дым. Было очевидно, что он считал себя аристократом и презирал доктора и следователя. После ужина Ежов, Гришуткин и товарищ прокурора сели играть в винт с болваном. Доктор и Надежда Ивановна сели около рояля и разговорились.

— Вы на вскрытие едете? — начала хорошенькая вдовушка. — Вскрывать мертвеца? Ах! Какую надо иметь силу воли, какой железный характер, чтобы не морщась, не мигнув глазом, заносить нож и вонзать его по рукоятку в тело бездыханного человека. Я, знаете ли, благоговею перед докторами. Это особенные люди, святые люди. Доктор, отчего вы так печальны? — спросила она.

— Предчувствие какое-то… Меня гнетет какое-то странное, тяжелое предчувствие. Точно ждет меня потеря любимого существа.

— А вы, доктор, женаты? У вас есть близкие?

— Ни души. Я одинок и не имею даже знакомых. Скажите, сударыня, вы верите в предчувствия?

— О, я верю в предчувствия.

И в то время, как доктор и вдовушка толковали о предчувствиях, Ежов и следователь Гришуткин то и дело вставали из-за карт и подходили к столу с закуской. В два часа ночи проигравшийся Ежов вдруг вспомнил о завтрашнем съезде и хлопнул себя по лбу.

— Батюшки! Что же мы делаем?! Ах мы беззаконники, беззаконники! Завтра чуть свет на съезд ехать, а мы играем! Спать, спать, тридцать три моментально! Надька, марш спать! Объявляю заседание закрытым.

— Счастливы вы, доктор, что можете спать в такую ночь! — сказала Надежда Ивановна, прощаясь с доктором. — Я не могу спать, когда дождь барабанит в окна и когда стонут мои бедные сосны. Пойду сейчас и буду скучать за книгой. Я не в состоянии спать. Вообще, если в коридорчике на окне против моей двери горит лампочка, то это значит, что я не сплю и меня съедает скука…

Доктор и Гришуткин в отведенной для них комнате нашли две громадные постели, постланные на полу, из перин. Доктор разделся, лег и укрылся с головой. Следователь разделся и лег, но долго ворочался, потом встал и заходил из угла в угол. Это был беспокойнейший человек.

— Я всё про барыньку думаю, про вдовушку, — сказал он. — Этакая роскошь! Жизнь бы отдал! Глаза, плечи, ножки в лиловых чулочках… огонь баба! Баба — ой-ой! Это сейчас видно! И этакая красота принадлежит чёрт знает кому — правоведу, прокурору! Этому жилистому дуралею, похожему на англичанина! Не выношу, брат, этих правоведов! Когда ты с ней о предчувствиях говорил, он лопался от ревности! Что говорить, шикарная женщина! Замечательно шикарная! Чудо природы!

— Да, почтенная особа, — сказал доктор, высовывая голову из-под одеяла. — Особа впечатлительная, нервная, отзывчивая, такая чуткая. Мы вот с вами сейчас уснем, а она, бедная, не может спать. Ее нервы не выносят такой бурной ночи. Она сказала мне, что всю ночь напролет будет скучать и читать книжку. Бедняжка! Наверное, у ней теперь горит лампочка…

— Какая лампочка?

— Она сказала, что если около ее двери на окне горит лампочка, то это значит, что она не спит.

— Она тебе это сказала? Тебе?

— Да, мне.

— В таком случае я тебя не понимаю! Ведь ежели она это тебе сказала, то значит ты счастливейший из смертных! Молодец, доктор! Молодчина! Хвалю, друг! Хоть и завидую, но хвалю! Не так, брат, за тебя рад, как за правоведа, за этого рыжего каналью! Рад, что ты ему рога наставишь! Ну, одевайся! Марш!

Гришуткин, когда бывал пьян, всем говорил «ты».

— Выдумываете вы, Агей Алексеич! Бог знает что, право… — застенчиво отвечал доктор.

— Ну, ну… не разговаривай, доктор! Одевайся и валяй… Как, бишь, это поется в «Жизни за царя»? И на пути любви денек срываем мы как бы цветок… Одевайся, душа моя. Да ну же! Тимоша! Доктор! Да ну же, скотина!

— Извините, я вас не понимаю.

— Да что же тут не понимать! Астрономия тут, что ли? Одевайся и иди к лампочке, вот и всё понятие.

— Странно, что вы такого нелестного мнения об этой особе и обо мне.

— Да брось ты философствовать! — рассердился Гришуткин. — Неужели ты можешь еще колебаться? Ведь это цинизм!

Он долго убеждал доктора, сердился, умолял, даже становился на колени и кончил тем, что громко выбранился, плюнул и повалился в постель. Но через четверть часа вдруг вскочил и разбудил доктора.

— Послушайте! Вы решительно отказываетесь идти к ней? — спросил он строго.

— Ах… зачем я пойду? Какой вы беспокойный человек, Агей Алексеич! С вами ездить на вскрытие — это ужасно!

— Ну так, чёрт вас возьми, я пойду к ней! Я… я не хуже какого-нибудь правоведа или бабы доктора. Пойду!

Он быстро оделся и пошел к двери.

Доктор вопросительно поглядел на него, как бы не понимая, потом вскочил.

— Вы, полагаю, это шутите? — спросил он, загораживая Гришуткину дорогу.

— Некогда мне с тобой разговаривать… Пусти!

— Нет, я не пущу вас, Агей Алексеич. Ложитесь спать… Вы пьяны!

— По какому это праву ты, эскулап, меня не пустишь?

— По праву человека, который обязан защитить благородную женщину. Агей Алексеич, опомнитесь, что вы хотите делать! Вы старик! Вам шестьдесят семь лет!

— Я старик? — обиделся Гришуткин. — Какой это негодяй сказал тебе, что я старик?

— Вы, Агей Алексеич, выпивши и возбуждены. Нехорошо! Не забывайте, что вы человек, а не животное! Животному прилично подчиняться инстинкту, а вы царь природы, Агей Алексеич!

Царь природы побагровел и сунул руки в карманы.

— Последний раз спрашиваю: пустишь ты меня или нет? — крикнул он вдруг пронзительным голосом, точно кричал в поле на ямщика. — Каналья!

Но тотчас же он сам испугался своего голоса и отошел от двери к окну. Он хотя был и пьян, но ему стало стыдно этого своего пронзительного крика, который, вероятно, разбудил всех в доме. После некоторого молчания к нему подошел доктор и тронул его за плечо. Глаза доктора были влажны, щеки пылали…

— Агей Алексеич! — сказал он дрожащим голосом. — После резких слов, после того, как вы, забыв всякое приличие, обозвали меня канальей, согласитесь, нам уже нельзя оставаться под одной крышей. Я вами страшно оскорблен… Допустим, что я виноват, но… в чем я, в сущности, виноват? Дама честная, благородная, и вдруг вы позволяете себе подобные выражения. Извините, мы более не товарищи.

— И отлично! Не надо мне таких товарищей.

— Я уезжаю сию минуту, больше оставаться я с вами не могу, и… надеюсь, мы больше не встретимся.

— Вы уедете на чем-с?

— На своих лошадях.

— А я на чем же уеду? Вы что же это! До конца хотите подличать? Вы меня привезли на ваших лошадях, на ваших же обязаны и увезти.

— Я вас довезу, если угодно. Только сейчас… Я сейчас еду. Я так взволнован, что больше не могу здесь оставаться.

Затем Гришуткин и Свистицкий молча оделись и вышли на двор. Разбудили Мишку, потом сели в тарантас и поехали…

— Циник… — бормотал всю дорогу следователь. — Если не умеешь обращаться с порядочными женщинами, то сиди дома, не бывай в домах, где женщины…

Себя ли это бранил он или доктора, трудно было понять. Когда тарантас остановился около его квартиры, он спрыгнул и, скрываясь за воротами, проговорил:

— Не желаю быть знакомым!

Прошло три дня. Доктор, окончив свою визитацию, лежал у себя на диване и, от нечего делать, читал в «Календаре для врачей» фамилии петербургских и московских докторов, стараясь отыскать самую звучную и красивую. На душе у него было тихо, хорошо, плавно, как на небе, в синеве которого неподвижно стоит жаворонок, и это благодаря тому, что в прошлую ночь он видел во сне пожар, что означало счастье. Вдруг послышался шум подъехавших саней (выпал снежок), и на пороге показался следователь Гришуткин. Это был неожиданный гость. Доктор поднялся и поглядел на него сконфуженно и со страхом. Гришуткин кашлянул, потупил глаза и медленно направился к дивану.

— Я приехал извиниться, Тимофей Васильич, — начал он. — Я был по отношению к вам немножко нелюбезен и даже, кажется, сказал вам какую-то неприятность. Вы, конечно, поймете мое тогдашнее возбужденное состояние, вследствие наливки, выпитой у той старой канальи, и извините…

Доктор привскочил и, со слезами на глазах, пожал протянутую руку.

— Ах… помилуйте! Марья, чаю!

— Нет, не надо чаю… Некогда. Вместо чаю, если можно, прикажите квасу подать. Выпьем квасу и поедем труп вскрывать.

— Какой труп?

— Да всё тот же унтер-офицерский, который тогда ездили вскрывать, да не доехали.

Гришуткин и Свистицкий выпили квасу и поехали на вскрытие.

— Конечно, я извиняюсь, — говорил доро&#769;гой следователь, — я тогда погорячился, но всё же, знаете ли, обидно, что вы не наставили рогов этому прокурору… ккканалье.

Проезжая через Алимоново, они увидели около трактира ежовскую тройку…

— Ежов тут! — сказал Гришуткин. — Его лошади. Зайдемте, повидаемся… Выпьем зельтерской воды и кстати на сиделочку поглядим. Тут знаменитая сиделка! Баба ой-ой! Чудо природы!

Путники вылезли из саней и пошли в трактир. Там сидели Ежов и Тюльпанский и пили чай с клюквенным морсом.

— Вы куда? Откуда? — удивился Ежов, увидев Гришуткина и доктора.

— На вскрытие всё ездим, да никак не доедем. В заколдованный круг попали. А вы куда?

— Да на съезд, батенька!

— Зачем так часто? Ведь вы третьего дня ездили!

— Кой чёрт, ездили… У прокурора зубы болели, да и я не в себе как-то был все эти дни. Ну, что пить будете? Присаживайтесь, тридцать три моментально. Водки или пива? Дай-ка нам, брат сиделочка, того и другого. Ах, что за сиделка!

— Да, знаменитая сиделка, — согласился следователь. — Замечательная сиделка. Баба ой-ой-ой!

Через два часа из трактира вышел докторский Мишка и сказал генеральскому кучеру, чтобы тот распряг и поводил лошадей.

— Барин велел… В карты засели! — сказал он и махнул рукой. — Теперь до завтраго отсюда не выберемся. Н-ну, и исправник едет! Стало быть, до послезавтра тут сидеть будем!

К трактиру подкатил исправник. Узнав ежовских лошадей, он приятно улыбнулся и вбежал по лесенке…

Месть женщины

Кто-то рванул за звонок. Надежда Петровна, хозяйка квартиры, в которой происходила описываемая история, вскочила с дивана и побежала отворить дверь.

«Должно быть, муж…». — подумала она.

Но, отворив дверь, она увидела не мужа. Перед ней стоял высокий, красивый мужчина в дорогой медвежьей шубе и золотых очках. Лоб его был нахмурен и сонные глаза глядели на мир божий равнодушно-лениво.

— Что вам угодно? — спросила Надежда Петровна.

— Я доктор, сударыня. Меня звали сюда какие-то… э-э-э… Челобитьевы… Вы Челобитьевы?

— Мы Челобитьевы, но… ради бога, извините, доктор. У моего мужа флюс и лихорадка. Он послал вам письмо, но вы так долго не приезжали, что он потерял всякое терпение и побежал к зубному врачу.

— Гм… Он мог бы сходить к зубному врачу и не беспокоя меня…

Доктор нахмурился. Прошла минута в молчании.

— Извините, доктор, что мы вас обеспокоили и заставили даром проехаться… Если бы мой муж знал, что вы приедете, то, верьте, он не побежал бы к дантисту… Извините…

Прошла еще одна минута в молчании. Надежда Петровна почесала себе затылок.

«Чего же он ждет, не понимаю?» — подумала она, косясь на дверь.

— Отпустите меня, сударыня! — пробормотал доктор. — Не держите меня. Время так дорого, знаете, что…

— То есть… Я, то есть… Я не держу вас…

— Но, сударыня, не могу же я уехать, не получив за свой труд!

— За труд? Ах, да… — залепетала Надежда Петровна, сильно покраснев. — Вы правы… За визит нужно заплатить, это верно… Вы трудились, ехали… Но, доктор… мне даже совестно… муж мой пошел из дому и взял с собой все наши деньги… Дома у меня теперь решительно ничего нет…

— Гм… Странно… Как же быть? Не дожидаться же мне вашего мужа! Да вы поищите, может быть, найдется что-нибудь… Сумма, в сущности, ничтожная…

— Но уверяю вас, что муж всё унес… Мне совестно… Не стала бы я из-за какого-нибудь рубля переживать подобное… глупое положение…

— Странный у вас, у публики, взгляд на труд врачей… ей-богу, странный… Словно мы и не люди, словно наш труд не труд… Ведь я ехал к вам, терял время… трудился…

— Да я это очень хорошо понимаю, но, согласитесь, бывают же такие случаи, когда в доме нет ни копейки!

— Ах, да какое же мне дело до этих случаев? Вы, сударыня, просто… наивны и нелогичны… Не заплатить человеку… это даже нечестно… Пользуетесь тем, что я не могу подать на вас мировому и… так бесцеремонно, ей-богу… Больше, чем странно!

Доктор замялся. Ему стало стыдно за человечество… Надежда Петровна вспыхнула. Ее покоробило…

— Хорошо! — сказала она резким тоном. — Постойте… Я пошлю в лавочку, и там, может быть, мне дадут денег… Я вам заплачу.

Надежда Петровна пошла в гостиную и села писать записку к лавочнику. Доктор снял шубу, вошел в гостиную и развалился в кресле. В ожидании ответа от лавочника, оба сидели и молчали. Минут через пять пришел ответ. Надежда Петровна вынула из записочки рубль и сунула его доктору. У доктора вспыхнули глаза.

— Вы смеетесь, сударыня, — сказал он, кладя рубль на стол. — Мой человек, пожалуй, возьмет рубль, но я… нет-с, извините-с!

— Сколько же вам нужно?

— Обыкновенно я беру десять… С вас же, пожалуй, я возьму и пять, если хотите.

— Ну, пяти вы от меня не дождетесь… У меня нет для вас денег.

— Пошлите к лавочнику. Если он мог дать вам рубль, то почему же ему не дать вам и пяти? Не всё ли равно? Я прошу вас, сударыня, не задерживать меня. Мне некогда.

— Послушайте, доктор… Вы не любезны, если… не дерзки! Нет, вы грубы, бесчеловечны! Понимаете? Вы… гадки!

Надежда Петровна повернулась к окну и прикусила губу. На ее глазах выступили крупные слезы.

«Подлец! Мерзавец! — думала она. — Животное! Он смеет… смеет! Не может понять моего ужасного, обидного положения! Ну, подожди же… чёрт!»

И, немного подумав, она повернула свое лицо к доктору. На этот раз на лице ее выражалось страдание, мольба.

— Доктор! — сказала она тихим, умоляющим голосом. — Доктор! Если бы у вас было сердце, если бы вы захотели понять… вы не стали бы мучить меня из-за этих денег… И без того много муки, много пыток.

Надежда Петровна сжала себе виски и словно сдавила пружину: волосы прядями посыпались на ее плечи…

— Страдаешь от невежды мужа… выносишь эту жуткую, тяжелую среду, а тут еще образованный человек позволяет себе бросать упрек. Боже мой! Это невыносимо!

— Но поймите же, сударыня, что специальное положение нашего сословия…

Но доктор должен был прервать свою речь. Надежда Петровна пошатнулась и упала без чувств на протянутые им руки… Голова ее склонилась к нему на плечо.

— Сюда, к камину, доктор… — шептала она через минуту. — Поближе… Я вам всё расскажу… всё…

Через час доктор выходил из квартиры Челобитьевых. Ему было и досадно, и совестно, и приятно…

«Чёрт возьми… — думал он, садясь в свои сани. — Никогда не следует брать с собой из дому много денег! Того и гляди, что нарвешься!»

Ванька

Был второй час ночи.

Коммерции советник Иван Васильевич Котлов вышел из ресторана «Славянский базар» и поплелся вдоль по Никольской, к Кремлю. Ночь была хорошая, звездная… Из-за облачных клочков и обрывков весело мигали звезды, словно им приятно было глядеть на землю. Воздух был тих и прозрачен.

«Около ресторана извозчики дороги, — думал Котлов, — нужно отойти немного… Там дальше дешевле… И к тому же мне надо пройтись: я объелся и пьян».

Около Кремля он нанял ночного ваньку.

— На Якиманку! — скомандовал он.

Ванька, малый лет двадцати пяти, причмокнул губами и лениво передернул вожжами. Лошаденка рванулась с места и поплелась мелкой, плохенькой рысцой… Ванька попался Котлову самый настоящий, типичный… Поглядишь на его заспанное, толстокожее, угреватое лицо — и сразу определишь в нем извозчика.

Поехали через Кремль.

— Который теперь час будет? — спросил ванька.

— Второй, — ответил коммерции советник.

— Так-с… А теплей стало! Были холода, а теперь опять потеплело… Хромаешь, подлая! Э-э-э… каторжная!

Извозчик приподнялся и проехался кнутом по лошадиной спине.

— Зима! — продолжал он, поудобней усаживаясь и оборачиваясь к седоку. — Не люблю! Уж больно я зябкий! Стою на морозе и весь коченею, трясусь… Подуй холод, а у меня уж и морда распухла… Комплекцыя такая! Не привык!

— Привыкай… У тебя, братец, ремесло такое, что привыкать надо…

— Человек ко всему привыкнуть может, это действительно, ваше степенство… Да покеда привыкнешь, так раз двадцать замерзнешь… Нежный я человек, балованный, ваше степенство… Меня отец и мать избаловали. Не думали, что мне в извозчиках быть. Нежность на меня напускали. Царство им небесное! Как породили меня на теплой печке, так до десятого годка и не снимали оттеда. Лежал я на печке и пироги лопал, как свинья какая непутная… Любимый у них был… Одевали меня наилучшим манером, грамоте для нежности обучали. Бывалыча и босиком не пробеги: «Простудишься, миленькой!» Словно не мужик, а барин. Побьет отец, а мать плачет… Мать побьет — отцу жалко. Поедешь с отцом в лес за хворостом, а мать тебя в три шубы кутает, словно ты в Москву собрался аль в Киев…

— Разве богато жили?

— Обнаковенно жили, по-мужицки… День прошел — и слава богу. Богаты не были, да и с голоду, благодарить бога, не мерли. Жили мы, барин, в семействе… семейством, стало быть… Дед мой тогда жив был, да коло него два сына жили. Один сын, отец мой тоись, женатый был, другой неженатый. А я один паренечек был всего-навсего, всей семье на утеху — ну и баловали. Дед тоже баловал… У деда, знаешь, деньга была припрятана, и он воображение в себе такое имел, что я не пойду по мужицкой части… «Тебе, — говорит, — Петруха, лавку открою. Расти!» Напускали на меня нежность-то, напускали, холили-холили, а вышло потом такое недоумение, что совсем не до нежности… Дядя-то мой, дедов сын, а отцов брат, возьми и выкрадь у деда его деньги. Тыщи две было… Как выкрал, так с той поры и пошло разоренье… Лошадей продали, коров… Отец с дедом наниматься пошли… Известно, как это у нас в крестьянстве… А меня, раба божьего, в пастухи… Вот она, нежность-то!

— Ну, дядя-то твой? Он же что?

— Он ничего… как и следовает… Снял на большой дороге трахтир и зажил припеваючи… Годов через пять на богатой серпуховской мещанке женился. Тысяч восемь за ней взял… После свадьбы трахтир сгорел… Отчего, это самое, ему не гореть, ежели он в обчестве застрахован? Так и следовает… А после пожара уехал он в Москву и снял там бакалейную лавку… Таперь, говорят, богат стал и приступу к нему нет… Наши мужики, хабаровские, видели его тут, сказывали… Я не видел… Фамилия его будет Котлов, а по имени и отечеству Иван Васильев… Не слыхали?

— Нет… Ну, поезжай скорей!

— Обидел нас Иван Васильев, ух как обидел! Разорил и по миру пустил… Не будь его, нешто я мерз бы тут при своей этой самой комплекцыи, при моей слабости? Жил бы я да поживал в своей деревушке… Эхх! Звонят вот к заутрене… Хочется мне господу богу помолиться, чтоб взыскал с него за всю мою муку… Ну, да бог с ним! Пусть его бог простит! Дотерпим!

— Направо к подъезду!

— Слушаю… Ну, вот и доехали… А за побасенку пятачишко следовало бы…

Котлов вынул из кармана пятиалтынный и подал его ваньке.

— Прибавить бы следовало! Вез ведь как! Да и почин…

— Будет с тебя!

Барин дернул звонок и через минуту исчез за резною дубовою дверью.

А извозчик вскочил на козлы и поехал медленно обратно… Подул холодный ветерок… Ванька поморщился и стал совать зябкие руки в оборванные рукава.

Он не привык к холоду… Балованный…

Репетитор

Гимназист VII класса Егор Зиберов милостиво подает Пете Удодову руку. Петя, двенадцатилетний мальчуган в сером костюмчике, пухлый и краснощекий, с маленьким лбом и щетинистыми волосами, расшаркивается и лезет в шкап за тетрадками. Занятие начинается.

Согласно условию, заключенному с отцом Удодовым, Зиберов должен заниматься с Петей по два часа ежедневно, за что и получает шесть рублей в месяц. Готовит он его во II класс гимназии. (В прошлом году он готовил его в I класс, но Петя порезался.)

— Ну-с… — начинает Зиберов, закуривая папиросу. — Вам задано четвертое склонение. Склоняйте fructus!

Петя начинает склонять.

— Опять вы не выучили! — говорит Зиберов, вставая. — В шестой раз задаю вам четвертое склонение, и вы ни в зуб толконуть! Когда же, наконец, вы начнете учить уроки?

— Опять не выучил? — слышится за дверями кашляющий голос, и в комнату входит Петин папаша, отставной губернский секретарь Удодов. — Опять? Почему же ты не выучил? Ах ты, свинья, свинья! Верите ли, Егор Алексеич? Ведь и вчерась порол!

И, тяжело вздохнув, Удодов садится около сына и засматривает в истрепанного Кюнера. Зиберов начинает экзаменовать Петю при отце. Пусть глупый отец узнает, как глуп его сын! Гимназист входит в экзаменаторский азарт, ненавидит, презирает маленького краснощекого тупицу, готов побить его. Ему даже досадно делается, когда мальчуган отвечает впопад — так опротивел ему этот Петя!

— Вы даже второго склонения не знаете! Не знаете вы и первого! Вот вы как учитесь! Ну, скажите мне, как будет звательный падеж от meus filius[131 - мой сын (лат.).]?

— От meus filius? Meus filius будет… это будет…

Петя долго глядит в потолок, долго шевелит губами, но не дает ответа.

— А как будет дательный множественного от dea[132 - богиня (лат.).]?

— Deabus… filiabus! — отчеканивает Петя.

Старик Удодов одобрительно кивает головой. Гимназист, не ожидавший удачного ответа, чувствует досаду.

— А еще какое существительное имеет в дательном abus? — спрашивает он.

Оказывается, что и «anima — душа» имеет в дательном abus, чего нет в Кюнере.

— Звучный язык латинский! — замечает Удодов. — Алон… трон… бонус… антропос… Премудрость! И всё ведь это нужно! — говорит он со вздохом.

«Мешает, скотина, заниматься… — думает Зиберов. — Сидит над душой тут и надзирает. Терпеть не могу контроля!» — Ну-с, — обращается он к Пете. — К следующему разу по латыни возьмете то же самое. Теперь по арифметике… Берите доску. Какая следующая задача?

Петя плюет на доску и стирает рукавом. Учитель берет задачник и диктует:

— «Купец купил 138 арш. черного и синего сукна за 540 руб. Спрашивается, сколько аршин купил он того и другого, если синее стоило 5 руб. за аршин, а черное 3 руб.?» Повторите задачу.

Петя повторяет задачу и тотчас же, ни слова не говоря, начинает делить 540 на 138.

— Для чего же это вы делите? Постойте! Впрочем, так… продолжайте. Остаток получается? Здесь не может быть остатка. Дайте-ка я разделю!

Зиберов делит, получает 3 с остатком и быстро стирает.

«Странно… — думает он, ероша волосы и краснея. — Как же она решается? Гм!.. Это задача на неопределенные уравнения, а вовсе не арифметическая»…

Учитель глядит в ответы и видит 75 и 63.

«Гм!.. странно… Сложить 5 и 3, а потом делить 540 на 8? Так, что ли? Нет, не то».

— Решайте же! — говорит он Пете.

— Ну, чего думаешь? Задача-то ведь пустяковая! — говорит Удодов Пете. — Экий ты дурак, братец! Решите уж вы ему, Егор Алексеич.

Егор Алексеич берет в руки грифель и начинает решать. Он заикается, краснеет, бледнеет.

— Эта задача, собственно говоря, алгебраическая, — говорит он. — Ее с иксом и игреком решить можно. Впрочем, можно и так решить. Я, вот, разделил… понимаете? Теперь, вот, надо вычесть… понимаете? Или, вот что… Решите мне эту задачу сами к завтраму… Подумайте…

Петя ехидно улыбается. Удодов тоже улыбается. Оба они понимают замешательство учителя. Ученик VII класса еще пуще конфузится, встает и начинает ходить из угла в угол.

— И без алгебры решить можно, — говорит Удодов, протягивая руку к счетам и вздыхая. — Вот, извольте видеть…

Он щелкает на счетах, и у него получается 75 и 63, что и нужно было.

— Вот-с… по-нашему, по-неученому.

Учителю становится нестерпимо жутко. С замиранием сердца поглядывает он на часы и видит, что до конца урока остается еще час с четвертью — целая вечность!

— Теперь диктант.

После диктанта — география, за географией — закон божий, потом русский язык, — много на этом свете наук! Но вот, наконец, кончается двухчасовой урок. Зиберов берется за шапку, милостиво подает Пете руку и прощается с Удодовым.

— Не можете ли вы сегодня дать мне немного денег? — просит он робко. — Завтра мне нужно взносить плату за учение. Вы должны мне за шесть месяцев.

— Я? Ах, да, да… — бормочет Удодов, не глядя на Зиберова. — С удовольствием! Только у меня сейчас нету, а я вам через недельку… или через две…

Зиберов соглашается и, надев свои тяжелые, грязные калоши, идет на другой урок.

На охоте

Собачья выставка с ее борзыми и гончими напомнила мне один маленький эпизод, имевший большое влияние на мою жизнь.

В одно прекрасное утро я получил от дяди, помещика Екатеринославской губернии, письмо. Между прочим он писал:

«Если не приедешь ко мне на будущей неделе, то и племянником считать тебя не буду, отца твоего из поминальной книжки вычеркну… Поохотимся, — приезжай!»…

Надо было поехать.

Дядя встретил меня с распростертыми объятиями и, как это водится даже у самых гостеприимных охотников, не дав мне оправиться после долгой дороги и отдохнуть, повел меня на псарню показывать мне своих лошадей и собак. Собаки, по моему мнению, бывают большие, маленькие и средние, белые, черные и серые, злые и смирные; дядя же различал между ними крапчатых, темно-багряных, сохастовых, лещеватых, черно-пегих, черных в подпалинах, брудастых — совсем собачий язык, и мне кажется, что если бы собаки умели говорить, то говорили бы именно на таком языке. Дядя показывал, целовал собак в морды и всё требовал, чтобы я щупал собачьи морды, трогал лапы.

На другой день утром меня нарядили в полушубок и валенки и повезли на охоту.

Я вспоминаю теперь большой ольховый лес, седой от инея. Тишина в нем царит гробовая. От леса до горизонта тянется белое поле… И конца не видно этому полю. В лесу и по полю скачут на конях полушубки… У всех лица озабоченные, напряженные, словно всем этим полушубкам предстоит открыть что-то новое, необыкновенное… Дядя мой, красный как рак, скачет от одного полушубка к другому, отдает приказания, сыплет ругательства… Слышны трубные звуки… Эту картину вспоминаю я теперь. Помню также, как подъехал ко мне дядя и повел меня на окраину леса.

— Стой тут… Как зверь побежит на тебя из лесу, так и стреляй!

— Но ведь я, дядюшка, и ружья-то держать путем не умею!

— Пустяки… Приучайся… Ну, смотри же!.. Чуть только зверь — пли!!.

Сказавши это, дядя отъехал от меня, и я остался один. Полушубки поскакали в лес. Долго я ждал зверя. Ждал я, а сам в это время думал о Москве, мечтал, дремал…

«А что если я убью зверя? — воображал я. — Убью я, а не они! То-то потеха будет!»

После долгого ожидания послышался наконец сдержанный собачий лай… По лесу понеслось ауканье… Я взвел курок и насторожил зрение и слух… У меня забилось сердце, и проснулся во мне инстинкт хищника-охотника. Затрещали недалеко от меня кусты, и я увидел зверя… Зверь, какой-то странный, на длинных ногах и с колючей мордой, несся прямо на меня… Я нажал пальцем, загремел выстрел, и всё было кончено. Ура! Мой зверь подпрыгнул, упал и закорчился.

— Сюда! Ко мне! — закричал я. — Дядюшка!

Я указал на умирающего зверя. Дядя поглядел на него и схватил себя за голову.

— Это мой Скачок! — закричал он. — Моя собака!.. Моя горячо любимая собака!..

И, прыгнув с лошади, он припал к своему Скачку. А я поскорее в сани — и был таков.

Непреднамеренное убийство Скачка навсегда рассорило меня с дядей. Он перестал мне высылать содержание. Умирая же, три года тому назад, он приказал передать мне, что он и после смерти не простит мне убийства его любимой собаки. И имение свое он завещал не мне, а какой-то даме, своей бывшей любовнице.

О женщины, женщины!

Сергей Кузьмич Почитаев, редактор провинциальной газеты «Кукиш с маслом», утомленный и измученный, воротился из редакции к себе домой и повалился на диван.

— Слава богу! Я дома наконец… Отдохну душой здесь… у домашнего очага, около жены… Моя Маша — единственный человек, который может понять меня, искренно посочувствовать…

— Чего ты сегодня такой бледный? — спросила его жена, Марья Денисовна.

— Да так, на душе скверно… Пришел вот к тебе и рад: душой отдохну.

— Да что случилось?

— Вообще скверно, а сегодня в особенности. Петров не хочет больше отпускать в кредит бумагу. Секретарь запьянствовал… Но всё это пустяки, уладится как-нибудь… А вот где беда, Манечка… Сижу я сегодня в редакции и читаю корректуру своей передовой. Вдруг, знаешь, отворяется дверь и входит князь Прочуханцев, давнишний мой друг и приятель, тот самый, что в любительских спектаклях всегда первых любовников играет и что актрисе Зрякиной за один поцелуй свою белую лошадь отдал. «Зачем, думаю, черти принесли? Это недаром… Зрякиной, думаю, пришел рекламу делать»… Разговорились… То да се, пятое, десятое… Оказывается, что не за рекламой пришел. Стихи свои принес для напечатания…

«Почувствовал, говорит, я в своей груди огненный пламень и… пламенный огонь. Хочется вкусить сладость авторства…»

Вынимает из кармана розовую раздушенную бумажку и подает…

«Стихи, говорит… Я, говорит, в них несколько субъективен, но все-таки… И Некрасов был субъективен…»

Взял я эти самые субъективные стихи и читаю… Чепуха невозможнейшая! Читаешь их и чувствуешь, что у тебя глаза чешутся и под ложечкой давит, словно ты жёрнов проглотил… Посвятил стихи Зрякиной. Посвяти он мне эти стихи, я бы на него мировому подал! В одном стихотворении пять раз слово «стремглав»! А рифма! Ландыше&#769;й вместо ла&#769;ндышей! Слово «лошадь» рифмует с «ношей»!

«Нет, говорю, вы мне друг и приятель, но я не могу поместить ваших стихов…»

«Почему-с?»

«А потому… По независящим от редакции обстоятельствам… Не подходят под программу газеты…»

Покраснел я весь, глаза стал чесать, соврал, что голова трещит… Ну как ему сказать, что его стихи никуда не годятся? Он заметил мое смущение и надулся, как индюк.

«Вы, говорит, сердиты на Зрякину, а потому и не хотите печатать моих стихов. Я понимаю… Па-анимаю, милостивый государь!»

В лицеприятии меня упрекнул, назвал филистером, клерикалом и еще чем-то… Битых два часа читал мне нотацию. В конце концов пообещал затеять интригу против моей особы… Не простившись уехал… Такие-то дела, матушка! 4-го декабря, на Варвару, Зрякина именинница — и стихи должны появиться в печати во что бы то ни стало… Хоть умри, да помещай! Напечатать их невозможно: газету осрамишь на всю Россию. Не напечатать тоже нельзя: Прочуханцев интригу затеет — и ни за грош пропадешь. Изволь-ка теперь придумать, как выбраться из этого ерундистого положения!

— А какие стихи? О чем? — спросила Марья Денисовна.

— Ни о чем… Ерунда… Хочешь, прочту? Начинаются они так:

Сквозь дым мечтательной сигары

Носилась ты в моих мечтах,

Неся с собой любви удары

С улыбкой пламенной в устах…

А потом сразу переход:

Прости меня, мой ангел белоснежный,

Подруга дней моих и идеал мой нежный,

Что я, забыв любовь, стремглав туда бросаюсь,

&#8196;&#8196;&#8196;&#8196;&#8196;&#8196;&#8196;&#8196;Где смерти пасть… О, ужасаюсь!

И прочее… чепуха.

— Что же? Это стихи очень милые! — всплеснула руками Марья Денисовна. — Даже очень милые! Чем не стихи? Ты просто придираешься, Сергей! «Сквозь дым… с улыбкой пламенной»… Значит, ты ничего не понимаешь! Ты не понимаешь, Сергей!

— Ты не понимаешь, а не я!

— Нет, извини… Прозы я не понимаю, а стихи я отлично понимаю! Князь превосходно сочинил! Отлично! Ты ненавидишь его, ну и не хочешь печатать!

Редактор вздохнул и постучал пальцем сначала по столу, потом по лбу…

— Знатоки! — пробормотал он, презрительно улыбаясь.

И, взяв свой цилиндр, он горько покачал головой и вышел из дома…

«Иду искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок… О женщины, женщины! Впрочем, все бабы одинаковы!» — думал он, шагая к ресторану «Лондон».

Ему хотелось запить…

Наивный леший

(Сказка)

В лесу, на берегу речки, которую день и ночь сторожит высокий камыш, стоял в одно прекрасное утро молодой, симпатичный леший. Возле него на травке сидела русалочка, молоденькая и такая хорошенькая, что, знай я ее точный адрес, бросил бы всё — и литературу, и жену, и науки — и полетел бы к ней… Русалочка была нахмурена и сердито теребила зеленую травку.

— Я прошу вас понять меня, — говорил леший, заикаясь и конфузливо мигая глазами. — Если вы поймете, то не будете так строги. Позвольте мне объяснить вам всё с самого начала… 20 лет тому назад на этом самом месте, когда я просил у вас руки, вы сказали, что только в таком случае выйдете за меня замуж, если у меня не будет глупого выражения лица, а для этого вы посоветовали мне отправиться к людям и поучиться у них уму-разуму. Я, как вам известно, послушал вас и отправился к людям. Отлично… Придя к ним, я прежде всего оправился, какие есть специальности и ремесла. Один правовед сказал мне, что самая лучшая и безвредная специальность — это лежать на диване, задрав вверх ноги, и плевать в потолок; но я, честный, глупый леший, не поверил ему! Прежде всего я попал по протекции в почтмейстеры. Ужасная, ma ch&#232;re[133 - моя дорогая (франц.).], должность! Письма обывателей до того скучны, что просто тошно делается!

— Зачем же вы их читали, если они скучны?

— Так принято… Да и к тому же нельзя без этого… Письма разные бывают… Иной подписывается «поручик такой-то», а под этим поручиком Лассаля понимать надо или Спинозу… Ну-с… потом поступил я по протекции в брандмейстеры… Тоже ужасная должность! То и дело пожар… Сядешь, бывало, обедать или в винт играть — пожар. Ляжешь спать — пожар. А изволь-ка тут ехать на пожар, если еще и из естественной истории известно, что казенных лошадей нельзя кормить овсом. Раз я велел накормить лошадей овсом, и — что ж вы думаете? — ревизор так удивился, что мне даже совестно стало… Бросил…

Есть, ma ch&#232;re, на земле люди, которые смотрят за тем, чтобы у ближних в головах и карманах ничего лишнего не было. От брандмейстера к этой должности рукой подать. Я поступил. Вся моя служба на первых порах состояла в том, что я принимал от людей «благодарности»… Сначала мне это ужасно нравилось… В наш практический век такие чувства, как благодарность, могут не нравиться только камню и должны быть поощряемы… Но потом я совсем разочаровался. Люди ужасно испорчены… Они благодарят купонами 1889 года и даже пускают в ход фальшивые купоны. И к тому же — благодарят, а у самих в глазах никаких приятных чувств не выражается… По&#769;шло! От этой должности к педагогии рукой подать. Поступил я в педагоги. Сначала мне повезло, и даже директор несколько раз мне руку пожимал. Ему ужасно нравилось мое глупое лицо. Но увы! Прочел я однажды в «Вестнике Европы» статью о вреде лесоистребления и почувствовал угрызения совести. Мне и ранее, откровенно говоря, было жаль употреблять нашу милую, зеленую березу для таких низменных целей, как педагогия.

Выразил я директору свое сомнение, и мое глупое выражение лица было сочтено за подложное. Я — фюйть! Потом поступил я в доктора. Сначала мне повезло. Дифтериты, знаете ли, тифы… Хотя я и не увеличил процента смертности, но все-таки был замечен. В повышение меня назначили врачом в Московский воспитательный дом. Здесь, кроме рецептов и посещения палат, с меня потребовали реверансов, книксенов и уменья с достоинством ездить на запятках… Старший доктор Соловьев, тот самый, что в Одессе, на съезде, себя на эмпиреях чувствовал, требовал даже от меня, чтобы я делал ему глазки. Когда я сказал, что реверансы и глазки не преподаются на медицинском факультете, меня сочли за вольнодумца и не помнящего родства…

После неудачного докторства занялся я коммерцией. Открыл булочную и стал булки печь. Но, ma ch&#232;re, на земле так много насекомых, что просто ужас! Какой калач ни взломай, во всяком таракан или мокрица сидит.

— Ах, полно вам чепуху пороть! — воскликнула русалочка, выйдя из терпения. — Кой чёрт просил вас, дурака этакого, поступать в брандмейстеры и булки печь? Неужели вы, скотина вы этакая, не могли на земле найти что-нибудь поумнее и возвышеннее? Разве у людей нет наук, литературы?

— Я, знаете ли, хотел поступить в университет, да мне один акцизный сказал, что там всё беспорядки… Был я и литератором… черти понесли меня в эту литературу! Писал я хорошо и даже надежды подавал, но, ma ch&#232;re, в кутузках так холодно и так много клопов, что даже при воспоминании пахнет в воздухе клопами. Литературой я и кончил… В больнице помер… Литературный фонд похоронил меня на свой счет. Репортеры на десять рублей на моих похоронах водки выпили. Дорогая моя! Не посылайте меня вторично к людям! Уверяю вас, что я не вынесу этого испытания!

— Это ужасно! Мне жаль вас, но поглядитесь вы в реку! Ваше лицо стало глупее прежнего! Нет, ступайте опять! Займитесь науками, искусствами… путешествуйте, наконец! Не хотите этого? Ну, так ступайте и последуйте тому совету, который дал вам правовед!

Леший начал умолять… Чего уж он только не говорил, чтобы избавиться от неприятной поездки! Он сказал, что у него нет паспорта, что он на замечании, что при теперешнем курсе тяжело совершать какие бы то ни было поездки, но ничто не помогло… Русалочка настояла на своем. И леший опять среди людей. Он теперь служит, дослужился уже до статского советника, но выражение его лица нисколько не изменилось: оно по-прежнему глупое.

Прощение

В прощальный день я, по христианскому обычаю и по добросердечию своему, прощаю всех…

Торжествующую свинью прощаю за то, что она… содержит в себе трихины.

Прощаю вообще всё живущее, теснящее, давящее и душащее… как-то: тесные сапоги, корсет, подвязки и проч.

Прощаю аптекарей за то, что они приготовляют красные чернила.

Взятку — за то, что ее берут чиновники.

Березовую кашу и древние языки — за то, что они юношей питают и отраду старцам подают, а не наоборот.

«Голос» — за то, что он закрылся.

Статских советников — за то, что они любят хорошо покушать.

Мужиков — за то, что они плохие гастрономы.

Прощаю я кредитный рубль… Кстати: один секретарь консистории, держа в руке только что добытый рубль, говорил дьякону: «Ведь вот, поди ж ты со мной, отец дьякон! Никак я не пойму своего характера! Возьмем хоть вот этот рубль к примеру… Что он? Падает ведь, унижен, осрамлен, очернился паче сажи, потерял всякую добропорядочную репутацию, а люблю его! Люблю его, несмотря на все его недостатки, и прощаю… Ничего, брат, с моим добрым характером не поделаешь!» Так вот и я…

Прощаю себя за то, что я не дворянин и не заложил еще имения отцов моих.

Литераторов прощаю за то, что они еще и до сих пор существуют.

Прощаю Окрейца за то, что его «Луч» не так мягок, как потребно.

Прощаю Суворина, планеты, кометы, классных дам, ее и, наконец, точку, помешавшую мне прощать до бесконечности.

Сон репортера

«Настоятельно прошу быть сегодня на костюмированном балу французской колонии. Кроме вас, идти некому. Дадите заметку, возможно подробнее. Если же почему-либо не можете быть на балу, то немедленно уведомьте — попрошу кого-нибудь другого. При сем прилагаю билет. Ваш… (следует подпись редактора).

P. S. Будет лотерея-аллегри. Будет разыграна ваза, подаренная президентом французской республики. Желаю вам выиграть».

Прочитав это письмо, Петр Семеныч, репортер, лег на диван, закурил папиросу и самодовольно погладил себя по груди и по животу. (Он только что пообедал.)

— Желаю вам выиграть, — передразнил он редактора. — А на какие деньги я куплю билет? Небось, денег на расходы не даст, ска-атина. Скуп, как Плюшкин. Взял бы он пример с заграничных редакций… Там умеют ценить людей. Ты, положим, Стэнли, едешь отыскивать Ливингстона. Ладно. Бери столько-то тысяч фунтов стерлингов! Ты, Джон Буль, едешь отыскивать «Жаннетту». Ладно. Бери десять тысяч! Ты идешь описывать бал французской колонии. Ладно. Бери… тысяч пятьдесят… Вот как за границей! А он мне прислал один билет, потом заплатит по пятаку за строчку и воображает… Ска-а-тина!..

Петр Семеныч закрыл глаза и задумался. Множество мыслей, маленьких и больших, закопошилось в его голове. Но скоро все эти мысли покрылись каким-то приятным розовым туманом. Из всех щелей, дыр, окон медленно поползло во все стороны желе, полупрозрачное, мягкое… Потолок стал опускаться… Забегали человечки, маленькие лошадки с утиными головками, замахало чье-то большое мягкое крыло, потекла река… Прошел мимо маленький наборщик с очень большими буквами и улыбнулся… Всё утонуло в его улыбке и… Петру Семенычу начало сниться.

Он надел фрак, белые перчатки и вышел на улицу. У подъезда давно уже ожидает его карета с редакционным вензелем. С козел соскакивает лакей в ливрее и помогает ему сесть в карету, подсаживает его, точно барышню-аристократку.

Через какую-нибудь минуту карета останавливается у подъезда Благородного собрания. Он, нахмурив лоб, сдает свое платье и с важностью идет вверх по богато убранной, освещенной лестнице. Тропические растения, цветы из Ниццы, костюмы, стоящие тысячи.

— Корреспондент… — пробегает шёпот в многотысячной толпе. — Это он…

К нему подбегает маленький старичок с озабоченным лицом, в орденах.

— Извините, пожалуйста! — говорит он Петру Семенычу. — Ах, извините, пожалуйста!

И вся зала вторит за ним:

— Ах, извините, пожалуйста!

— Ах, полноте! Вы меня конфузите, право… — говорит репортер.

И он вдруг, к великому своему удивлению, начинает трещать по-французски. Ранее знал одно только «merci», а теперь — на поди!

Петр Семеныч берет цветок и бросает сто рублей, и как раз в это время подают от редактора телеграмму: «Выиграйте дар президента французской республики и опишите ваши впечатления. Ответ на тысячу слов уплачен. Не жалейте денег». Он идет к аллегри и начинает брать билеты. Берет один… два… десять… Берет сто, наконец тысячу и получает вазу из севрского фарфора. Обняв обеими руками вазу, спешит дальше.

Навстречу ему идет дамочка с роскошными льняными волосами и голубыми глазами. Костюм у нее замечательный, выше всякой критики. За ней толпа.

— Кто это? — спрашивает репортер.

— А это одна знатная француженка. Выписана из Ниццы вместе с цветами.

Петр Семеныч подходит к ней и рекомендуется. Через минуту он берет ее под руку и ходит, ходит… Ему многое нужно разузнать от француженки, очень многое… Она так прелестна!

«Она моя! — думает он. — А где я у себя в комнате поставлю вазу?» — соображает он, любуясь француженкой. Комната его мала, а ваза всё растет, растет и так разрослась, что не помещается даже в комнате. Он готов заплакать.

— А-а-а… так вы вазу любите больше, чем меня? — говорит вдруг ни с того, ни с сего француженка и — трах кулаком по вазе!

Драгоценный сосуд громко трещит и разлетается вдребезги. Француженка хохочет и бежит куда-то в туман, в облако. Все газетчики стоят и хохочут… Петр Семеныч, рассерженный, с пеной у рта, бежит за ними и вдруг, очутившись в Большом театре, падает вниз головой с шестого яруса.

Петр Семеныч открывает глаза и видит себя на полу, около своего дивана. У него от ушиба болят спина и локоть.

«Слава богу, нет француженки, — думает он, протирая глаза. — Ваза, значит, цела. Хорошо, что я не женат, а то, пожалуй, дети стали бы шалить и разбили вазу».

Протерев же глаза как следует, он не видит и вазы.

«Всё это сон, — думает он. — Однако уже первый час ночи… Бал давно уже начался, пора ехать… Полежу еще немного и — марш!»

Полежав еще немного, он потянулся и… заснул — и так и не попал на бал французской колонии.

— Ну, что? — спросил у него на другой день редактор. — Были на балу? Понравилось?

— Так себе… Ничего особенного… — сказал он, делая скучающее лицо. — Вяло. Скучно. Я написал заметку в двести строк. Немножко браню наше общество за то, что оно не умеет веселиться. — И, сказавши это, он отвернулся к окну и подумал про редактора:

— Ска-атина!!

Певчие

С легкой руки мирового, получившего письмо из Питера, разнеслись слухи, что скоро в Ефремово прибудет барин, граф Владимир Иваныч. Когда он прибудет — неизвестно.

— Яко тать в нощи, — говорит отец Кузьма, маленький, седенький попик в лиловой ряске. — А ежели он приедет, то и прохода здесь не будет от дворянства и прочего высшего сословия. Все соседи съедутся. Уж ты тово… постарайся, Алексей Алексеич… Сердечно прошу…

— Мне-то что! — говорит Алексей Алексеич, хмурясь. — Я свое дело сделаю. Лишь бы только мой враг ектению в тон читал. А то ведь он назло…

— Ну, ну… я умолю дьякона… умолю…

Алексей Алексеич состоит псаломщиком при ефремовской Трехсвятительской церкви. В то же время он обучает школьных мальчиков церковному и светскому пению, за что получает от графской конторы шестьдесят рублей в год. Школьные же мальчики за свое обучение обязаны петь в церкви. Алексей Алексеич — высокий, плотный мужчина с солидною походкой и бритым жирным лицом, похожим на коровье вымя. Своею статностью и двухэтажным подбородком он более похож на человека, занимающего не последнюю ступень в высшей светской иерархии, чем на дьячка. Странно было глядеть, как он, статный и солидный, бухал владыке земные поклоны и как однажды, после одной слишком громкой распри с дьяконом Евлампием Авдиесовым, стоял два часа на коленях, по приказу отца благочинного. Величие более прилично его фигуре, чем унижение.

Ввиду слухов о приезде графа, он делает спевки каждый день утром и вечером. Спевки производятся в школе. Школьным занятиям они мало мешают. Во время пения учитель Сергей Макарыч задает ученикам чистописание и сам присоединяется к тенорам, как любитель.

Вот как производятся спевки. В классную комнату, хлопая дверью, входит сморкающийся Алексей Алексеич. Из-за ученических столов с шумом выползают дисканты и альты. Со двора, стуча ногами, как лошади, входят давно уже ожидающие тенора и басы. Все становятся на свои места. Алексей Алексеич вытягивается, делает знак, чтобы молчали, и издает камертоном звук.

— То-то-ти-то-том… До-ми-соль-до!

— Аааа-минь!

— Адажьо… адажьо… Еще раз…

После «аминь» следует «Господи помилуй» великой ектении. Всё это давно уже выучено, тысячу раз пето, пережевано и поется только так, для проформы. Поется лениво, бессознательно. Алексей Алексеич покойно машет рукой и подпевает то тенором, то басом. Всё тихо, ничего интересного… Но перед «Херувимской» весь хор вдруг начинает сморкаться, кашлять и усиленно перелистывать ноты. Регент отворачивается от хора и с таинственным выражением лица начинает настраивать скрипку. Минуты две длятся приготовления.

— Становитесь. Глядите в ноты получше… Басы, не напирайте… помягче…

Выбирается «Херувимская» Бортнянского, № 7. По данному знаку наступает тишина. Глаза устремляются в ноты, и дисканты раскрывают рты. Алексей Алексеич тихо опускает руку.

— Пиано… пиано… Ведь там «пиано» написано… Легче, легче!

— …ви… и… мы…

Когда нужно петь piano, на лице Алексея Алексеича разлита доброта, ласковость, словно он хорошую закуску во сне видит.

— Форте… форте! Напирайте!

И когда нужно петь forte, жирное лицо регента выражает сильный испуг и даже ужас.

«Херувимская» поется хорошо, так хорошо, что школьники оставляют свое чистописание и начинают следить за движениями Алексея Алексеича. Под окнами останавливается народ. Входит в класс сторож Василий, в фартуке, со столовым ножом в руке, и заслушивается. Как из земли вырастает отец Кузьма с озабоченным лицом… После «отложим попечение» Алексей Алексеич вытирает со лба пот и в волнении подходит к отцу Кузьме.

— Недоумеваю, отец Кузьма! — говорит он, пожимая плечами. — Отчего это в русском народе понимания нет? Недоумеваю, накажи меня бог! Такой необразованный народ, что никак не разберешь, что у него там в горле: глотка или другая какая внутренность? Подавился ты, что ли? — обращается он к басу Геннадию Семичеву, брату кабатчика.

— А что?

— На что у тебя голос похож? Трещит, словно кастрюля. Опять, небось, вчерась трахнул за галстук? Так и есть! Изо рта, как из кабака… Эээх! Мужик, братец, ты! Невежа ты! Какой же ты певчий, ежели ты с мужиками в кабаке компанию водишь? Эх, ты осел, братец!

— Грех, брат, грех… — бормочет отец Кузьма. — Бог всё видит… насквозь…

— Оттого ты и пения нисколько не понимаешь, что у тебя в мыслях водка, а не божественное, дурак ты этакой.

— Не раздражайся, не раздражайся… — говорит отец Кузьма. — Не сердись… Я его умолю.

Отец Кузьма подходит к Геннадию Семичеву и начинает его умолять:

— Зачем же ты? Ты, тово, пойми у себя в уме. Человек, который поет, должен себя воздерживать, потому что глотка у него тово… нежная.

Геннадий чешет себе шею и косится на окно, точно не к нему речь.

После «Херувимской» поют «Верую», потом «Достойно и праведно», поют чувствительно, гладенько — и так до «Отче наш».

— А по-моему, отец Кузьма, — говорит регент, — простое «Отче наш» лучше нотного. Его бы и спеть при графе.

— Нет, нет… Пой нотное. Потому граф в столицах, к обедне ходючи, окроме нотного ничего… Небось, там в капеллах… Там, брат, еще и не такие ноты!..

После «Отче наш» опять кашель, сморканье и перелистыванье нот. Предстоит исполнить самое трудное: концерт. Алексей Алексеич изучает две вещи: «Кто бог велий» и «Всемирную славу». Что лучше выучат, то и будут петь при графе. Во время концерта регент входит в азарт. Выражение доброты то и дело сменяется испугом. Он машет руками, шевелит пальцами, дергает плечами…

— Форте! — бормочет он. — Анданте! Разжимайте… разжимайте! Пой, идол! Тенора, не доносите! То-то-ти-то-том… Соль… си… соль, дурья твоя голова! Велий! Басы, ве… ве… лий…

Его смычок гуляет по головам и плечам фальшивящих дискантов и альтов. Левая рука то и дело хватает за уши маленьких певцов. Раз даже, увлекшись, он согнутым большим пальцем бьет под подбородок баса Геннадия. Но певчие не плачут и не сердятся на побои: они сознают всю важность исполняемой задачи.

После концерта проходит минута в молчании. Алексей Алексеич, вспотевший, красный, изнеможенный, садится на подоконник и окидывает присутствующих мутным, отяжелевшим, но победным взглядом. В толпе слушателей он, к великому своему неудовольствию, усматривает диакона Авдиесова. Диакон, высокий, плотный мужчина, с красным рябым лицом и с соломой в волосах, стоит, облокотившись о печь, и презрительно ухмыляется.

— Ладно, пой! Выводи ноты! — бормочет он густым басом. — Очень нужно грахву твое пение! Ему хоть по нотам пой, хоть без нот… Потому — атеист…

Отец Кузьма испуганно озирается и шевелит пальцами.

— Ну, ну… — шепчет он. — Молчи, диакон. Молю…

После концерта поют «Да исполнятся уста наша», и спевка кончается. Певчие расходятся, чтобы сойтись вечером для новой спевки. И так каждый день.

Проходит месяц, другой…

Уже и управляющий получил уведомление о скором приезде графа. Но вот, наконец, с господских окон снимаются запыленные жалюзи и Ефремово слышит звуки разбитого, расстроенного рояля. Отец Кузьма чахнет и сам не знает, отчего он чахнет: от восторга ли, от испуга ли… Диакон ходит и ухмыляется.

В ближайший субботний вечер отец Кузьма входит в квартиру регента. Лицо его бледно, плечи осунулись, блеск лиловой рясы померк.

— Был сейчас у его сиятельства, — говорит он, заикаясь, регенту. — Образованный господин, с деликатными понятиями… Но, тово… обидно, брат… В каком часу, говорю, ваше сиятельство, прикажете завтра к литургии ударить? А они мне: «Когда знаете… Только нельзя ли как-нибудь поскорее, покороче… без певчих». Без певчих! Тово, понимаешь… без певчих…

Алексей Алексеич багровеет. Легче ему еще раз простоять два часа на коленях, чем этакие слова слышать! Всю ночь не спит он. Не так обидно ему, что пропали его труды, как то, что Авдиесов не даст ему теперь прохода своими насмешками. Авдиесов рад его горю. На другой день всю обедню он презрительно косится на клирос, где один, как перст, басит Алексей Алексеич. Проходя с кадилом мимо клироса, он бормочет:

— Выводи ноты, выводи! Старайся! Грахв красненькую на хор даст!

После обедни регент, уничтоженный и больной от обиды, идет домой. У ворот догоняет его красный Авдиесов.

— Постой, Алеша, — говорит диакон. — Постой, дура, не сердись! Не ты один, и я, брат, в накладе! Подходит сейчас после обедни к грахву отец Кузьма и спрашивает: «А какого вы понятия о голосе диакона, ваше сиятельство? Не правда ли, совершеннейшая октава?» А грахв-то, знаешь, что выразил? Конплимент! «Кричать, говорит, всякий может. Не так, говорит, важен в человеке голос, как ум». Питерский дока! Атеист и есть атеист! Пойдем, брат сирота, с обиды тарарахнем точию по единой!

И враги, взявшись под руки, идут в ворота…

Два письма

I

Серьезный вопрос

Милый и дорогой мой дядюшка, Анисим Петрович!

Сейчас был у меня Ваш земляк Курошеев и сообщил мне, между прочим, что на днях воротился из-за границы со своей семьей Ваш сосед Мурдашевич. Это известие тем более поразило меня, что ранее ходили слухи, что Мурдашевичи навсегда останутся за границей.

Дорогой и милый дядюшка! Если Вы хотя немного любите вашего племянника, то съездите, голубчик, к Мурдашевичу и узнайте, как поживает его воспитанница, Машенька. Исповедую Вам сокровенную тайну моей души. Только Вам одному могу довериться. Я люблю Машеньку, люблю страстно, больше жизни! Шесть лет разлуки ни на йоту не уменьшили моей любви к ней. Жива ли она, здорова? Напишите, в каком виде Вы ее застали, помнит ли она меня, любит ли по-прежнему? Могу ли я написать к ней письмо? Всё узнайте, голубчик, и опишите обстоятельнее.

Скажите ей, что я уже не тот робкий, бедный студент… Я уже присяжный поверенный, имею практику, деньги… Одним словом, для полного счастья не хватает у меня только ее одной… Только!

В ожидании скорейшего ответа обнимаю.

Владимир Гречнев.

II

Обстоятельный ответ

Милый мой племянник Володя!

Получивши же твое письмо, я на другой день поехал к Мурдашевичу. Славный он человек! Постарел и поседел в загранице, но сохранил в себе воспоминание обо мне, своем старинном друге, так что, когда я вошедши, он обнял меня и, долго смотря мне в лице, сказал робким, нежным возгласом: «Не узнаю!» Когда же я назвал свою фамилию, он еще раз обнял меня и сказал: «Теперь припоминаю». Хороший человек! Будучи у него, выпил и закусил, потом же и за проферансишку сели по одной десятой. Во многих видах и разных манерах объяснял он мне про заграницу и много смешил меня игривым описанием смешных немецких нравов. Но наука, говорит, у немцев далеко пошла. Показывал мне также картину, купленную проездом через Италию, изображающую женского пола одну особу в странной, неприличной одежде. Видел я и Машеньку. Была в богатом платье розового цвета с протчими украшениями драгоценного свойства. Тебя она помнит и даже прослезилась глазами, когда о тебе спрашивала. Ждет от тебя письма и благодарит за память и чувства. Ты пишешь, что имеешь практику и деньги! Береги, душенька, деньги и веди себя умеренно и воздержно. Я, когда будучи в молодости, предавался сластолюбивым излишествам, но кратковременно и воздержно, и все-таки каюсь. Засим благословляю и желаю всего лучшего.

Твой дядя и доброжелатель Анисим Гречнев.

P.S. Пишешь ты хоть непонятно, но очень заманчиво и красноречиво. Показывал твое письмо всем соседям. Прочитавши его, сочли тебя как бы сочинителем, так что даже сын отца Григория, Владимир, переписал его с тем, чтобы послать в газету. Показывал его также Машеньке и ее мужу, немцу Урмахеру, за которого Машенька вышла замуж в прошлом годе. Немец прочел и похвалил. И теперь я всем показываю твое письмо и читаю. Пиши еще! А икра у Мурдашевича очень вкусная.

Жалобная книга

Лежит она, эта книга, в специально построенной для нее конторке на станции железной дороги. Ключ от конторки «хранится у станционного жандарма», на деле же никакого ключа не нужно, так как конторка всегда отперта. Раскрывайте книгу и читайте:

«Милостивый государь! Проба пера!?»

Под этим нарисована рожица с длинным носом и рожками. Под рожицей написано:

«Ты картина, я портрет, ты скотина, а я нет. Я — морда твоя».

«Подъезжая к сией станцыи и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа. И. Ярмонкин».

«Кто писал не знаю, а я дурак читаю».

«Оставил память начальник стола претензий Коловроев».

«Приношу начальству мою жалобу на Кондуктора Кучкина за его грубости в отношении моей жене. Жена моя вовсе не шумела, а напротив старалась чтоб всё было тихо. А также и насчет жандарма Клятвина который меня Грубо за плечо взял. Жительство имею в имении Андрея Ивановича Ищеева который знает мое поведение. Конторщик Самолучшев».

«Никандров социалист!»

«Находясь под свежим впечатлением возмутительного поступка… (зачеркнуто). Проезжая через эту станцию, я был возмущен до глубины души следующим… (зачеркнуто). На моих глазах произошло следующее возмутительное происшествие, рисующее яркими красками наши железнодорожные порядки… (далее всё зачеркнуто, кроме подписи). Ученик 7-го класса Курской гимназии Алексей Зудьев».

«В ожидании отхода поезда обозревал физиогномию начальника станции и остался ею весьма недоволен. Объявляю о сем по линии. Неунывающий дачник».

«Я знаю кто это писал. Это писал М. Д.».

«Господа! Тельцовский шуллер!»

«Жандармиха ездила вчера с буфетчиком Костькой за реку. Желаем всего лучшего. Не унывай жандарм!»

«Проезжая через станцию и будучи голоден в рассуждении чего бы покушать я не мог найти постной пищи. Дьякон Духов».

«Лопай, что дают»…

«Кто найдет кожаный портсигар тот пущай отдаст в кассу Андрею Егорычу».

«Так как меня прогоняют со службы, будто я пьянствую, то объявляю, что все вы мошенники и воры. Телеграфист Козьмодемьянский».

«Добродетелью украшайтесь».

«Катинька, я вас люблю безумно!»

«Прошу в жалобной книге не писать посторонних вещей. За начальника станции Иванов 7-й».

«Хоть ты и седьмой, а дурак».

Чтение

(Рассказ старого воробья)

Как-то раз в кабинете нашего начальника Ивана Петровича Семипалатова сидел антрепренер нашего театра Галамидов и говорил с ним об игре и красоте наших актрис.

— Но я с вами не согласен, — говорил Иван Петрович, подписывая ассигновки. — Софья Юрьевна сильный, оригинальный талант! Милая такая, грациозная… Прелестная такая…

Иван Петрович хотел дальше продолжать, но от восторга не мог выговорить ни одного слова и улыбнулся так широко и слащаво, что антрепренер, глядя на него, почувствовал во рту сладость.

— Мне нравится в ней… э-э-э… волнение и трепет молодой груди, когда она читает монологи… Так и пышет, так и пышет! В этот момент, передайте ей, я готов… на всё!

— Ваше превосходительство, извольте подписать ответ на отношение херсонского полицейского правления касательно…

Семипалатов поднял свое улыбающееся лицо и увидел перед собой чиновника Мердяева. Мердяев стоял перед ним и, выпучив глаза, подносил ему бумагу для подписи. Семипалатов поморщился: проза прервала поэзию на самом интересном месте.

— Об этом можно бы и после, — сказал он. — Видите ведь, я разговариваю! Ужасно невоспитанный, неделикатный народ! Вот-с, господин Галамидов… Вы говорили, что у нас нет уже гоголевских типов… А вот вам! Чем не тип? Неряха, локти продраны, косой… никогда не чешется… А посмотрите, как он пишет! Это чёрт знает что! Пишет безграмотно, бессмысленно… как сапожник! Вы посмотрите!

— М-да… — промычал Галамидов, посмотрев на бумагу. — Действительно… Вы, господин Мердяев, вероятно, мало читаете.

— Этак, любезнейший, нельзя! — продолжал начальник. — Мне за вас стыдно! Вы бы хоть книги читали, что ли…

— Чтение много значит! — сказал Галамидов и вздохнул без причины. — Очень много! Вы читайте и сразу увидите, как резко изменится ваш кругозор. А книги вы можете достать где угодно. У меня, например… Я с удовольствием. Завтра же я завезу, если хотите.

— Поблагодарите, любезнейший! — сказал Семипалатов.

Мердяев неловко поклонился, пошевелил губами и вышел.

На другой день приехал к нам в присутствие Галамидов и привез с собой связку книг. С этого момента и начинается история. Потомство никогда не простит Семипалатову его легкомысленного поступка! Это можно было бы, пожалуй, простить юноше, но опытному действительному статскому советнику — никогда! По приезде антрепренера Мердяев был позван в кабинет.

— Нате вот, читайте, любезнейший! — сказал Семипалатов, подавая ему книгу. — Читайте внимательно.

Мердяев взял дрожащими руками книгу и вышел из кабинета. Он был бледен. Косые глазки его беспокойно бегали и, казалось, искали у окружающих предметов помощи. Мы взяли у него книгу и начали ее осторожно рассматривать.

Книга была «Граф Монте-Кристо».

— Против его воли не пойдешь! — сказал со вздохом наш старый бухгалтер Прохор Семеныч Будылда. — Постарайся как-нибудь, понатужься… Читай себе помаленьку, а там, бог даст, он забудет, и тогда бросить можно будет. Ты не пугайся… А главное — не вникай… Читай и не вникай в эту умственность.

Мердяев завернул книгу в бумагу и сел писать. Но не писалось ему на этот раз. Руки у него дрожали и глаза косили в разные стороны: один в потолок, другой в чернильницу На другой день пришел он на службу заплаканный.

— Четыре раза уж начинал, — сказал он, — но ничего не разберу… Какие-то иностранцы…

Через пять дней Семипалатов, проходя мимо столов, остановился перед Мердяевым и спросил:

— Ну, что? Читали книгу?

— Читал, ваше превосходительство.

— О чем же вы читали, любезнейший? А ну-ка, расскажите!

Мердяев поднял вверх голову и зашевелил губами.

— Забыл, ваше превосходительство… — сказал он через минуту.

— Значит, вы не читали или, э-э-э… невнимательно читали! Авто-мма-тически! Так нельзя! Вы еще раз прочтите! Вообще, господа, рекомендую. Извольте читать! Все читайте! Берите там у меня на окне книги и читайте. Парамонов, подите, возьмите себе книгу! Подходцев, ступайте и вы, любезнейший! Смирнов — и вы! Все, господа! Прошу!

Все пошли и взяли себе по книге. Один только Будылда осмелился выразить протест. Он развел руками, покачал головой и сказал:

— А уж меня извините, ваше превосходительство… Скорей в отставку… Я знаю, что от этих самых критик и сочинений бывает. У меня от них старший внук родную мать в глаза дурой зовет и весь пост молоко хлещет. Извините-с!

— Вы ничего не понимаете, — сказал Семипалатов, прощавший обыкновенно старику все его грубости.

Но Семипалатов ошибался: старик всё понимал. Через неделю же мы увидели плоды этого чтения. Подходцев, читавший второй том «Вечного жида», назвал Будылду «иезуитом»; Смирнов стал являться на службу в нетрезвом виде. Но ни на кого не подействовало так чтение, как на Мердяева. Он похудел, осунулся, стал пить.

— Прохор Семеныч! — умолял он Будылду. — Заставьте вечно бога молить! Попросите вы его превосходительство, чтобы они меня извинили… Не могу я читать. Читаю день и ночь, не сплю, не ем… Жена вся измучилась, вслух читавши, но, побей бог, ничего не понимаю! Сделайте божескую милость!

Будылда несколько раз осмеливался докладывать Семипалатову, но тот только руками махал и, расхаживая по правлению вместе с Галамидовым, попрекал всех невежеством. Прошло этак два месяца, и кончилась вся эта история ужаснейшим образом.

Однажды Мердяев, придя на службу, вместо того, чтобы садиться за стол, стал среди присутствия на колени, заплакал и сказал:

— Простите меня, православные, за то, что я фальшивые бумажки делаю!

Затем он вошел в кабинет и, став перед Семипалатовым на колени, сказал:

— Простите меня, ваше превосходительство: вчера я ребеночка в колодец бросил!

Стукнулся лбом о пол и зарыдал…

— Что это значит?! — удивился Семипалатов.

— А это то значит, ваше превосходительство, — сказал Будылда со слезами на глазах, выступая вперед, — что он ума решился! У него ум за разум зашел! Вот что ваш Галамидка сочинениями наделал! Бог всё видит, ваше превосходительство. А ежели вам мои слова не нравятся, то позвольте мне в отставку. Лучше с голоду помереть, чем этакое на старости лет видеть!

Семипалатов побледнел и прошелся из угла в угол.

— Не принимать Галамидова! — сказал он глухим голосом. — А вы, господа, успокойтесь. Я теперь вижу свою ошибку. Благодарю, старик!

И с этой поры у нас больше ничего не было. Мердяев выздоровел, но не совсем. И до сих пор при виде книги он дрожит и отворачивается.

Жизнеописания достопримечательных современников

I

Письмо в редакцию

Милостивый государь, господин редактор!

На прошлой неделе в пятницу скончался раком в желудке мой старший брат Петр Гурьич Хрусталев, штабс-капитан, живший на 2-й Ямской в доме купца Чернобрюхова и называвший себя юмористически по случаю запоя «шнапс-капитаном». Будучи умирая, он подозвал меня к своему смертному одру и сказал жалостным голосом:

— Никифор! Мне капут и предел… Но я не унываю, ибо жизнь человеческая по естеству своему, как и всё прочее, заключена в рамки. Так уж в природе испокон века ведется. Ежели бы все люди жили да не умирали, то не было бы для них места не только в домах, но и на крышах… Слушай! Ты знаешь, что всю мою жизнь я страдал от дурного качества, а именно от запоя. Кроме того, я имел склонность к литературе. Возьми эту тетрадь и после смерти моей отнеси в какую-нибудь редакцию, дабы узнали люди, что я за человек и как я всё понимаю. Попроси, чтоб напечатали крупным шрифтом.

Сказавши это, братец дал мне тетрадь и помер. На тетради этой написано: «Жизнеописания достопримечательных современников». В сочинениях я по невежеству мало понимаю, но «Жизнеописания» братца мне ужасно нравятся. Слогом своим и красноречием они похожи несколько на «Сторонние сообщения» г. Николая Базунова, помещаемые в «Новостях дня», а потому имею честь просить, ваше высокоблагородие, не побрезговать и исполнить волю почившего.

Его брат Никифор Хрусталев.

II

Александр Иванович Иванов

Знаменитый изобретатель подседно-копытной, колесной и иных мазей

Александр Иванович Иванов, сей великий подседно-копытный муж, родился в XIX веке от бедных, но благородных родителей, в неизвестном месте. По мнению весьма многих ученых историков и философов, день и час его рождения совпадает с появлением на небе кометы 1848 года. Парижская же Академия наук отрицает это и днем его рождения называет 23-е марта 1849 г. — день, в который происходило извержение Везувия. Рассказывают, что А. И. в первую минуту своей жизни, взглянув на принимавшую его повитуху, горько заплакал и этим уже показал свое недовольство современной медициной. В первые же годы опытный глаз мог подметить в младенце его гениальные подседно-копытные и лишайные способности. В то время, когда его сверстники предавались детским забавам, он сидел где-нибудь в уголку и копался в разных жидких хозяйственных необходимостях. Так, он любил размешивать ваксу, лепить человечков из замазки, делать тесто из песочку и прочее подобное, говорящее не столько о пользе совершаемого, сколько о наклонностях и таланте совершающего. Любимое также его